

Григорий БЕНЕВИЧ

НАШИ ДЕВЯНОСТЫЕ

ЧАСТЬ I

ИЗ КОЧЕГАРОВ ЧЕРЕЗ ПАРИЖ В НЕОФИТЫ

(Отрывки из воспоминаний)

Предыстория

На момент описываемых событий я уже (в 1985 г.) обвенчался со своей женой, Ольгой Поповой, с которой познакомился в Клубе-81, объединявшем деятелей неофициальной культуры. Мы крестились и венчались, практически не зная друг друга, о чем есть отдельный рассказ¹. Теперь для нас обоих начался новый период жизни.

Наши девяностые (так я решил назвать эту часть мемуаров) начались еще во второй половине 80-х, исподволь подготавливая те события, которые произошли в девяностые. Это касается и наших личных судеб, и истории питерской культуры и религиозно-философского возрождения, в которой мы когда пассивно, а когда и активно приняли участие.

Ужасы, стихи, роды и американцы

В 1986 году постепенно начала появляться политика. К Горбачеву мы поначалу отнеслись с недоверием, зато другое явление, возникшее почти с самого начала горбачевской эпохи, реально задело меня. Не помню уже, по какому поводу, но в какой-то момент я, не слишком смелый от природы, пришел в ужас не только за себя (у нас к тому времени уже родилась дочка, которую я, увлеченный тогда Библией, назвал именем Лия), – от какой-то первой антисемитской акции то ли общества «Память», то ли его предшественника, сейчас уже не помню. Теперь смешно и нелепо об этом писать, но рассказываю честно, как оно было. Тогда же я, давно не писавший стихов, написал, лучше сказать, выдал то ли из себя, то ли в себе этот ужас от показавшейся тотальной угрозы:

меня ли мужественный ужас обуял
иль я его —
вместо имен
иван
и вон
повсюду он
вы
жми
кулак в карман
еврей

¹ См. Г. Беневич. Взросление. Ч. 2. (ожидается в: Звезда. 2026. № 4).

армян

Стихотворение русофобское в буквальном смысле, т.к. имеет дело со страхом перед русскими, которые тотализуются (когда угроза исходит ото всюду, это и есть ужас). Но хорошо хоть, я не поддался ему (вопрос – он меня обуял или я его?). Мужества хватило, чтоб остаться в России, чему помогли и мои близкие.

Я показал этот текст Сереже Завьялову, и, помню, он, русский, вместо того чтоб обидеться за своих, воспринял его с полным сочувствием.

Оля же примерно в это время написала свое стихотворение, которое меня глубоко тронуло – как бы в ответ на мое:

Я – жена изгоя,
Я – собака с перебитым хвостом,
Я надеюсь на Милосердие,
А остальное
Приводит в отчаяние,
Приводит в отчаяние,
Приводит в отчаянье,
И бесполезно притом.

Так я впервые узнал, что моя жена пишет стихи. Она, правда, отнекивалась, пока я не наткнулся в ее шкафу на пачку стихов, написанных ею и в юности, и совсем недавно – во время короткого романа с одним из авторов «Метрополя». Стихи эти (цикл «Принц из чистого золота» – аллюзия к Оскару Уайльду)², признаться, меня поразили. Не только силою и нетривиальностью чувств (ревности они у меня почему-то совсем не вызвали), но и своей необыкновенной – даже на мой, как мне казалось, требовательный вкус, – поэтической силой, почти как у Сильвии Плат, и то же отчаянное отстаивание молодой женщиной, охваченной страстью, своего достоинства...

Конечно, я понимал, что как муж могу легко и ошибаться в своей оценке Олиных стихов. Так что я поспешил показать их В. Кривулину. Но и он подтвердил мое ощущение, что это нечто стоящее, и что если Оля удержится на том же уровне, то она может вырасти в настоящего поэта. Кривулин же посоветовал Оле поучаствовать в первом за долгое время публичном и открытом конкурсе молодых поэтов, который тогда как раз должен был состояться. Он сам был одним из членов жюри.

Конкурс проходил недалеко от моей котельной, в ДК «Красный Октябрь» (теперь, кажется, его там нет). Оля, преодолевая природную стеснительность – а тут еще ведь и совершенно отчаянные и откровенные стихи на публике нужно было читать – успешно справилась, и получила почетное третье место, пропустив вперед лишь то, что мы между собой называли «московским стебальным». Это были хорошие, местами смешные стихи, но явно эстрадного толка. На разрыв аорты там работала только Оля, и тут ей не было равных.

Так что 1986 г. принес такое неожиданное открытие – Бог дал мне в жены человека с таким необычным даром. Это было и волнительно-радостно, и грозно. Я тогда еще не сознавал, до какой степени грозно, но смутно догадывался, что Олина созвучность Сильвии Плат – не только нечто замечательное в плане ценности ее поэзии (а, кстати, как сочетать поэзию и христианскую семейную жизнь?), но и нечто опасное, учитывая трагический конец американско-английской поэтессы. У Оли – постепенно я о ней узнавал все больше и больше

² Весь цикл вошел в сборник: Попова Ольга. Переход. СПб.: Изд-во «Написано пером», 2015. С. 17–28 (см. также: https://studopedia.ru/12_236849_tsikl-prints-iz-chistogo-zolota.html).

– за спиной уже было три попытки суицида в ранней юности... Так что нужно было как-то уберечь ее от повторения той же участи... Пока я все это не очень-то понимал, скорее смутно догадывался...

Так, Оля очень тяжело перенесла и без того нелегкие первые роды (12 марта 1986 г.). В знак протеста против того, как с ней обращались в хваленной «родилке» имени Отто (куда и попала-то «по благу»), она обрила себе бритвой наголо голову (акт, как она считала, заменяющий суицид), что, к слову сказать, ей потом чрезвычайно шло. Но в тот момент делегации врачей одна за другой навещали ее, чтобы проверить, не рехнулась ли она от родовой травмы (а мамочки в палате ржали от их «идиотских» вопросов – проверка вменяемости – при каждом их визите). Так что нескучно нам с Олей было с самого начала.

Тот же 1986 г. ознаменовался еще несколькими, затронувшими многих, событиями. Это был год Чернобыля и год начала крушения Советской империи. Ее слабину нам на опыте довелось почувствовать, когда беспрепятственно и без каких-либо последствий нам разрешили провести вечер дома у американского атташе по культуре в Ленинграде. Это было 27 июля 1986 г., когда в Питер приехала группа американских писателей, наиболее известным из которых в СССР тогда был член американской академии искусств Э.Л. Доктороу, автор знаменитого и уже переведенного на русский «Рэгтайма». Эта делегация³ имела официальную встречу с советскими писателями в их «Союзе», а после (по их, американцев, настоятельной просьбе) встречалась с группой неофициальных писателей и деятелей культуры, где самыми видными были Виктор Кривулин и Сергей Курехин. Нас с Аркадием Шуфриным (далее А.Ш.)⁴ на эту встречу (проходившую в чрезвычайно непринужденной и абсолютно новой для меня атмосфере американской «party») позвал Кривулин, который не очень-то владел английским, но зато выглядел как настоящий великий поэт андеграунда. Помню, как Курехин великолепно играл с известным американским писателем и одновременно профессиональным джазовым пианистом Фрэнком Конроем (Conroy) (тот как раз получил премию Грэмми в 1986 г.) в четыре руки на фортепьяно джаз, а потом Курехин (игравший явно не хуже, а, скорее, и получше американца) импровизировал, впрочем, без излишнего своего эпатажа, соло. Это было здорово!

Именно на этой вечеринке я познакомился с американским поэтом и переводчиком Джимом (Джеймсом) Кейтсом (J. Kates) (еврейского происхождения, как и многие американские писатели из той делегации). Так завязалась наша многолетняя дружба. А 29 июля (согласно записной книжке Джима) «мы с утра гуляли и гуляли по городу, как некие персонажи Достоевского... говорили о Мандельштаме и мистицизме, литературе и жизни». Потом дошли до моей котельной на Мытнинской набережной, и Джим даже сфоткал меня на входе в котельную и внутри – потом, кажется, где-то опубликовал в США. Экзотика – русский неофициальный литератор в своей котельной! После же я познакомил Джима с Олей, пригласил его к нам, и она дала ему свои стихи. Надо сказать, что они произвели на него, когда он подучил русский язык, сильное впечатление. Они, при всей специфике русской поэзии, хорошо перекликались с тем трендом на открытие женского взгляда на мир, отстаивания женского достоинства, который к тому времени сложился в литературе США. Вот почему, когда Джим потом переводил (отлично, надо сказать) Олины стихи, а он делал это до самого последнего времени, его переводы охотно принимали американские журналы. Они были опубликованы в антологии русской поэзии в США в переводе Джима Кейтса⁵ и в виде билингвы задолго до того, как появились ее публикации в России (в СССР она вообще не успела опубликоваться до его распада).

³ В ней было еще несколько крупных фигур, например, главред журнала «Nation» Виктор Наваски.

⁴ Мой близкий друг и соавтор тех лет.

⁵ In the Grip of Strange Thoughts: Russian Poetry in the New Era, ed. by J. Kates (Zephyr Press, 1999).

Джим стал нашим другом, и я потом тоже перевел ряд стихотворений из его замечательного цикла «Голоса Ветхого Завета» и включил его в наш совместный с Олей сборник «Прощание» (1994 г.)⁶, о чем речь еще впереди.

Возвращаясь же к делам политическим, эту главку можно завершить упоминанием о том, что если в самиздатском сборнике религиозно-философских переводов «Мост» № 2 за 1987 г. я опубликовал перевод из средневекового еврейского философа Маймонида, то в 1988 г. («Мост» № 3) – отрывки из классики либерализма: «Открытое общество и его враги» Карла Поппера. Может, «гласность» и «перестройка» к этому времени не оставили и меня равнодушными, и я отдал дань происходящим в обществе процессам. Хотя А.Ш. припоминает иной мотив, почему я взялся за этот перевод (моя память его «репрессировала») – мотив был полемическим, мне не понравился тезис Поппера, что история не имеет смысла (это расходилось с моим христианским мировоззрением). Как бы то ни было, через несколько лет (уже по ту сторону СССР) этот перевод появился в Петербургской либеральном еженедельнике «Час пик» с предисловием историка Д.В. Панченко, успевшим к тому времени лично встретиться с сэром Карлом Поппером и рассказавшим читателям и об этом сочинении, и о своей встрече с автором.

Новая родня и лето на номенклатурной даче

Наша с Олей семейная жизнь начиналась совсем не как обычный советский брак – после венчания мы свадьбу не справляли, а когда все же – ради будущих детей – через несколько месяцев расписались, то опять никакой свадьбы с приглашением родных не справляли, а позвали только близких друзей – А.Ш. да Диму с Леной Панченко (Сережа Завьялов был, кажется, в отъезде). Бедные наши родители, им даже не удалось «погулять» на свадьбе своих детей! Нет, конечно, мы познакомились (сразу после того, как решили повенчаться) с родителями друг друга, и мне, кстати, Олины, особенно ее мама, понравились, но родительского благословения – как это делалось в старину – не спрашивали, просто поставили их перед фактом, который они, впрочем, спокойно приняли.

Зато с рождением уже первого ребенка (тем более, после второго и третьего) их помощь и участие в нашей жизни все больше росли. Попросту говоря, мы бы без них не справились. Зато и мы нашим родителям – сами того не чая – подарили, так сказать, «вторую молодость» и – пусть и несколько обманчивый, с моей точки зрения, но смысл жизни. Тесть так и говорил в душевном разговоре «под рюмочку»: в чем смысл жизни? – в продолжении рода. Не думаю, что и мои родители мыслили так радикально (мама, в частности, была увлечена своей работой), но и они конечно были чрезвычайно рады, что их непутевый сын, наконец, женился и родил таких славных детишек, и готовы были помогать всем, чем могли.

Приобщение к новым – неожиданным – родным, впрочем, было связано со своими нюансами. Дело в том, что Оля была не из совсем уж обычной итээровской советской семьи. Т.е. формально – да, ее родители, хоть были и помладше моих, но, в общем, во многом похожи: работали (на тот момент – только Олин папа, мама из-за болезни стала домашней хозяйкой) на ВПК. Причем в том же самом «Судпроме», что и мой папа (хоть и в другом КБ). Хотя Олин папа был на одну ступеньку социальной лестницы выше моих – был кандидатом наук и начальником отдела, но между собой – с моими родителями, Олины прекрасно, особенно «под водочку», находили общий язык. Но было в Олином происхождении и нечто, что меня, для начала, внутренне рассмешило. Дело в том, что ее покойный уже к моменту нашей с ней встречи дедушка (он умер всего за полгода до нашего знакомства), Георгий Иванович Попов, был не так уж давно первым секретарем Ленинградского горкома КПСС

⁶ Полностью цикл опубликован: Семь искусств. 2015. № 7. (см. также <https://litbook.ru/article/8358/>).

(1960–1971). Внутренне рассмешило меня это потому, что вот же угораздило меня, почти диссидента, кочегара, человека андеграунда, «изгоя», как определила в своем стихе Оля, жениться на внучке бывшего партийного босса (и фактически, хозяина Города!). В лице Олиной родни (не столько ее родителей, сколько семьи ее отца) я соприкоснулся со средой мне неизвестной, и априори абсолютно чуждой. Заодно я постепенно узнал, как складывалась судьба человека этой среды.

Но для начала нужно сказать, что как без моего деда Бенциона не было бы меня, т.к. он (врач-гинеколог) взял на себя ответственность за роды больной сердцем моей мамы⁷, так без Г.И. Попова не было бы и Оли. Не только потому, что он был ее дедушкой, но и потому, что в момент угрозы выкидыша (ее мама поиграла в бадминтон на 24 неделе беременности) он своими решительными действиями и благодаря своему положению спас ее. Роды (или то, что ими показалось) начались в Зеленогорске, когда Олину маму привезли в местную больницу. Там, сделав укол, сказали, что неизбежен выкидыш, но она очень хотела сохранить ребенка, и дед отправил ее на своей машине в клинику Отто в Питере (ему, конечно, не отказали), там почему-то родов не было еще пару недель, а потом, на 26 неделе Оля родилась, и ее выносили. Не будь она внучкой партийного начальника, скорее всего, и на свете бы ее не было.

Но вернемся к Г.И. Попову (далее Г.И.). Он, как мы позднее узнали, читая биографию И. Бродского, был одним из тех (пусть и не самым главным, но из первых лиц), кто преследовал поэта. А Даниил Гранин в эссе «Заговор» (речь о заговоре Брежнева против Хрущева, в котором участвовал и Г.И.) рисует его не слишком симпатичный портрет («Звезда» № 1, 2012 г.), и обвиняет его и в том, что тот был «ругателем интеллигенции», хотя в семье Поповых считают портрет искаженным, и обвинения – несправедливыми (см. их открытое письмо: «Не надо возводить поклеп». Литературная Россия. 4. 03.02. 2016; есть в Сети). Не мне судить, кто тут прав (впрочем, несколько грубых фактических и логических ошибок я у Гранина без труда нашел), но припоминаю, как сам Д. Гранин на пару с А. Кушнером не пушал в печать сборник неофициальных авторов «Круг», написав отрицательную рецензию, хотя КГБ хотел его издать! Г.И. Попов же, очевидно, исполнял то, что любой бы партийный чиновник на его месте делал, а Гранин и Кушнер, они-то ведь вроде не безликие чиновники?..

Что до гонений на Бродского, то Оля, когда узнала, что дед замешан в этом деле, сказала: может, у меня и с руками такая беда⁸ – как своего рода наказание нашего рода за подобные дела деда? Я не стал ни на это возражать, ни с этим соглашаться. Тут каждый волен сам брать на себя вину за своих предков или не брать... Скажу только, что Олин дед, и в этом сомнений нет, добровольно покинул свой пост, когда обнаружил воровство склонного к роскоши, нового (с 1970 г.) секретаря обкома партии Г.В. Романова (своего начальника). Тот пытался и Г.И. втянуть в эти дела, но он категорически отказался (послал его матом) и подал в отставку (Гранин все перепутал, и уход Г.И. описал неправильно). Как бы то ни было, сколько я знаю изнутри, сам Г.И. никаких богатств на своем посту не нажил и сына ими не наделил. Даже близко не лежит к тому, что приобретают на сходных постах чиновники нашего времени. Когда ему предлагали недорого приобрести в собственность государственную дачу в Солнечном (а не в Репино, как путает Гранин), которая пожизненно была за ним закреплена, он отказался, сказав, что пока он жив, семья пусть ею пользуется, а когда помрет, как-нибудь обойдутся. Так после его смерти ее у семьи (дав там пожить летом 1986 г. последний раз) и отняли.

⁷ См. подробнее Г. Беневиц. История моей мамы. Еврейская старина. 2025. № 3. (<https://s.berkovich-zametki.com/y2025/nomer2/benevich/>).

⁸ С рождения отсутствуют фаланги почти всех пальцев на обеих руках.

Если уж говорить о печальной стороне деятельности Г.И. Попова, то я бы упомянул не столько дело Бродского, где Г.И. был явно не первой и даже не второй скрипкой, сколько снесение при нем во время хрущевской антирелигиозной кампании церкви Спаса на Сенной (снесена в 1961) и Дмитриевской греческой церкви (снесена в 1962) и возведение на ее месте концертного зала «Октябрьский». О последнем (без упоминания сноса церкви) в своем письме в защиту Г.И. говорят даже его родственники, считая, впрочем, появление концертного зала его личным большим достижением. Так вот и получилось, что тот, чей род по одной из линий восходил к потомственным священникам, оказался одним из главных распорядителей во время сноса замечательного храма, оплаканного И. Бродским, который, впрочем, очень мудро никого в этом не винит (см. «Остановка в пустыне»). Но это все я осознал только, когда писал эти мемуары.

А тогда, в июне 1986 г., нас с Олей и четырехмесячной дочкой пригласила на эту госдачу в Солнечном вдова Г.И. Никаких богатств, даже особых удобств я там не заметил. Дача как дача – одноэтажная с небольшими комнатами, даже не шибко ухоженная. Единственным ее несомненным преимуществом было то, что она была в 5-7 минутах ходьбы от пляжа, в прекрасном хвойном подлеске... Именно на этой «партийной» даче я испытал в первый и последний раз в своей жизни то измененное состояние сознания, искомое даосами, о котором я прочел потом в одном примечании к книге Малявина о Чжуан-Цзы, кажется, оно называется в терминологии Малявина «энтасис» – когда «все во мне и я во всем» – состояние единения до неразличимости – с природой и любимой. Неплохое все же место давали для дач партийным работникам! Не знаю, испытывали ли они там нечто подобное.

Впрочем, вскоре нам с этого райского места пришлось убираться. Оля поругалась с вдовой Г.И. (ее отцу она была не родной, а приемной матерью, родная погибла, по пути в эвакуацию из блокадного города) после того, как она, эта вдова, не спросив, вытащила из холодильника (слишком маленького для двух семей) и поставила рядом с печкой с таким трудом купленное мной финское детское питание, молочко «Тутельку». Так что пришлось нам ретироваться в свою коммуналку со злобной соседкой.

То есть дела семейные у нас были, после рождения дочки, может, и получше, чем у многих – все же своя комната (наследство Оли от первого брака) в малонаселенной коммуналке в Купчино, но не такими уж легкими. Дочка была беспокойной, часто приходилось вставать по ночам, а учитывая постоянный сбой ритма сна из-за работы в котельной, я все время ходил с некоторым недосыпом, как бы подшофе. Один раз так и упал в обморок в коридоре, хорошо Оля услышала грохот, вышла и привела меня в чувство. Когда же на место одной злобной старухи-соседки в нашу квартиру вселилась еще более злобная молодая, с маленьким постоянно кричащим ребенком и подкаблучником-мужем, подпевавшим злобной жене, стало совсем тяжело...

Заповедь возлюбить врага мы на деле выполнить были не способны. Хотя пытались.... Дело спасло лишь то, что после рождения второго ребенка мы, пожив пару месяцев у моих родителей, – вот где был настоящий рай! – обменяли в начале 1988 г. Олину комнату и однушку, пожертвованную нам моей бабушкой Раей (она переехала к моим родителям – тоже жертва с их стороны) на двухкомнатную квартиру на Черной Речке. Тут начался новый этап в нашей жизни, продлившийся около десяти лет.

На перепутьях религиозного возрождения

Хотя крестились мы и венчались аж в 1985 г., но в церковь практически не ходили. Мы долгое время (больше года) даже и дочку свою не удосужились крестить. Но, наконец, приехавшая из Москвы в Питер по случаю (на самом деле она ездила к старице Любушке в Сусанино в Ленинградской области) наша старшая подруга Катя И., которая в это время уже

не только истово воцерковлялась, но и устремилась в направлении к монашеству (сейчас она игуменья монастыря), пристыдила нас, и мы срочно отправились дочку крестить в ближайший тогда к нам действовавший храм – Иова Многострадального на Волковском кладбище. Но тут случился конфуз – священник отказался крестить девочку с еврейским именем Лия. Кате (она была крёстной) с большим трудом удалось его убедить, кажется, прочтя ему краткий курс библеистики. В целом Катя нас, любя, поругала, подарила молитвословы и сказала, что пора уже братья за ум (было это, думаю, в 1987 г.).

А в 1988-м, переехав на Черную Речку, мы уже не тянули и почти сразу покрестили недавно родившегося сына Ефима в ближайшей к нам церкви Рождества Иоанна Предтечи (служб в ней еще не было, но крещения иногда проводились). (Этот храм позднее сыграет в нашей жизни важную роль.) Крёстным был Коля Кобак⁹, а крестил его (вышло это случайно) о. Владимир Цветков, священник из интеллигенции, которого я уже видел, кажется, зайдя на его лекцию в «Обществе Игнатия Брянчанинова». Его в этой главке я еще буду упоминать. Но о. Владимир в храме почему-то не задержался, да и сам храм как-то пока не функционировал (он откроется по-настоящему только в 1991 г.).

Потом попытались (я чаще, Оля, как занятая больше хозяйством, – реже) ходить на Серафимовское кладбище к о. Василию Ермакову, благо не так уж далеко. Добрый батюшка, ничего не скажешь... Искренне больше года я пытался «опроститься» и, что называется, слиться с тамошним церковным народом. Но получалось это плохо – видать, смирения не хватало... Особенно досадным было партесное пение хора, точнее его солистки (явно оперной певицы, выдававшей свои рулады в самые важные моменты литургии, вроде «Херувимской»). Так что посещал я этот храм не часто, а другого действующего поблизости не было.

Помню, пытался я ходить в храм Духовной академии, и впервые за долгое время подошел к исповеди. На мое счастье исповедовал о. Вениамин (Новик), он ободрил меня и очень тепло как-то парой слов сбил с меня мое «смирение паче гордости» (всегда с благодарностью вспоминаю его, к сожалению безвременно ушедшего). Но все же храм ЛДА был для нас слишком профессиональным и каким-то элитарным, да и далеко ездить...

В это время в городе по части того, что можно условно назвать распространением христианского просвещения, происходили радикальные перемены (в год 1000-летия Крещения Руси оно было разрешено). Речь не о Духовных школах – Академии и семинарии, а о, так сказать, независимых инициативах, где постепенно обозначились три основные тенденции, которые, впрочем, поначалу пересекались. С одной стороны, возникло так называемое «Общество христианского просвещения» (ОХП), у истоков которого были: ветеран неофициальной культуры, друг поэтов и сам некогда поэт, а потом христианский мыслитель Евгений Пазухин, недавно вышедший на свободу из лагеря Владимир Пореш, Сергей Овсянников (в будущем настоятель храма МП в Брюсселе), да и много кто еще, включая и вашего покорного слугу. Из самых заметных деятелей в ОХП следует упомянуть и Вадима Лурье (будущий известный патролог¹⁰), от которого мы с А.Ш. впервые узнали о красоте и философской глубине православной догматики. Это общество начало проводить свои заседания и занятия то ли в конце 1988 г., то ли в начале 1989 г.

Примерно в то же время, что и ОХП, возникли в Питере еще два общества: «Открытого христианства» во главе с религиозным философом Константином Ивановым (Пореш потом ушел туда), и «Общество святителя Игнатия (Брянчанинова)». Там заглавную роль играл как раз о. Владимир Цветков.

Итак, в это время наметились три основные тенденции в движении интеллигенции

⁹ См. рассказ о нем: Г. Беневич. Взросление. Ч. 2. (ожидается в: Звезда. 2026. № 4.).

¹⁰ А потом под именем Григорий – епископ не признающей МП Церкви.

(образованцев) к христианству, а в какой-то степени и к Церкви. В «Открытом христианстве» в центр поставили идею «диалога» с атеистическим сознанием. Поначалу это выглядело очень интересно и перспективно – надо было как-то учесть, переварить, а не просто отбросить тот исторический опыт 70 лет государственного атеизма, через который прошла Россия. И Константин Иванов, в свое время посещавший семинары лагерного ученика Л.П. Карсавина, А.А. Ванеева, знавший и о. Сергия Желудкова, отстаивал эту идею. К. Ивановым со товарищи был даже позднее организован Религиозно-философский институт, имевший прекрасное помещение близ площади Александра Невского, около Лавры, и при нем школа, директором там была жена Константина, Инга (в эту школу ходили пару лет, в 1993-1994 гг., мои старшие дети и дети Бори Останина – прельщало независимое от государства образование с элементами христианского просвещения), но все в конечном счете обернулось какой-то аферой (не буду вдаваться в подробности, но в центре аферы была, помнится, как раз Инга), и детей пришлось срочно оттуда забирать. Сам же К. Иванов пришел, в конце концов, в результате своей духовной (или материальной?) эволюции к кальвинизму. И уже в нашем веке преподавал в каком-то институте южно-корейских протестантов в Питере.

Другая тенденция в христианском просвещении конца 80-х – начала 90-х гг. была представлена «Обществом имени святителя Игнатия (Брянчанинова)». В этом обществе, в отличие от ОХП и тем более от «Открытого христианства», как раз предполагалась однозначность в выборе веры – там учили «спасаться» по-православному. Как рассказывает о тех временах Людмила Ильюнина: «основал его ... протоиерей Владимир Цветков. Он не раз говорил о том, что его особенно задело слова святителя Игнатия “в вере должна быть определительность”... Протоиерей Владимир Цветков поставил целью “выработку православного мировоззрения” именно на основании трудов святителя Игнатия. Лекции отца Владимира в большой аудитории Первого Медицинского института много лет собирали большое количество слушателей. Слушание переросло в делание, Общество совершило много добрых дел, главный плод этого делания – создание монашеской общины и восстановление Софрониевой пустыни в Нижегородской епархии», – излюбленного, добавлю, до недавнего времени места духовного окормления нынешнего идеолога русского мира А. Г. Дугина¹¹.

Вот чем точно не занималось ОХП (даже ее православные лекторы), так это выработкой православного мировоззрения. То есть если тема К. Иванова о диалоге с атеистами ОХП не была чужда, то конфессиональной, а тем более мировоззренческой однозначности ОХП точно не требовало. Здесь изучали христианство во всех (для которых находились докладчики и слушатели) его конфессиональных и культурных изводах.

Посещавшие здесь лекции, послушав представителей разных конфессий, различных течений мысли и подходов к вере, могли не только расширить свои знания и обычно скудный багаж советского человека, но и свободно и осознанно сами сделать свой выбор в пользу той или иной конфессии, веры или неверия. ОХП в этом смысле было достаточно уникальным явлением. В какой-то мере ему унаследовала открывшаяся в 1990 г. Высшая Религиозно-философская Школа (ВРФС), о которой речь впереди (но там появились представители не только христианских конфессий).

Что до моего собственного участия в учебном процессе в ОХП, то он был скромен – я провел три семинара по теме «Поэзия христианской метафизики», где обсуждал творчество Боратынского, Джона Донна и Данте (но об этом я напишу отдельно). Главным образом в ОХП я все же посещал лекции В. Лурье, может быть, что-то еще...

¹¹ Об о. Владимире Цветкове в этих мемуарах я возможно еще напишу. Как ни крути – долгое время он был любимым священником дорогого мне Виктора Ширали и не раз удерживал его на грани отчаяния. Да и Ширали посвятил ему много прекрасных стихов и интересной прозы. Этого я тоже не забыл и не забуду.

Дети vs стихи

Чтобы не засушивать эти мемуары вещами сугубо религиозно-философскими, отвлекусь немного на другое (впрочем, такое ли уж другое?). В первые годы нашей совместной жизни, особенно когда пошли дети, Оля почти перестала писать стихи (я-то их писать и так давно перестал). Но несколько раз ее все же, что называется, «пробивало». В результате получился целый цикл «В браке»¹². Приведу одно из этих стихотворений:

Скажи, зачем бреду, пути не узнавая,
Застывший полусвет похож на полутьму,
Не трогая себя, других не задевая,
И звон такой в ушах – ни звука не пойму?
Чтобы не биться так, себя не узнавая,
Как птица об стекло, об смерть, а видеть так,
Как воздух входит в грудь, груди не разрывая,
Не рая никого, а как мне сделать так?
А как мне сделать так, стекла не разбивая,
Унылый Твой покров, не брезгуя, сносить,
Твой купол голубой, баюкая, качая,
Развязывая плоть, увязывая нить.
Лелеемые мной, округлые, тугие
Ложатся имена, ложатся в колыбель,
Как первые стихи, такие дорогие,
Воркуемые мной, как парой голубей.
Их шелковая плоть ложится на колени,
Спина моя торчит в звенящее стекло,
Глуха, слепа, плоха, как будто в полутени,
Я делаю как все, чтоб их не разнесло.
Дыхание мое, дыхание их душит,
Чтоб слух не преклонить, не проронить словцо,
Ветшая, к тени тень тугую кожу сушит,
Так дай же мне Твой хлеб, я не люблю стекло!
Дай хлеб Свой, дай Свой свет, я ветхая, нагая,
Нагие на руках моих мои слова
Истаивают все, когда я слов не знаю –
Ни звуков, ни имен, – введи меня в права!

О чем в этом стихотворении идет речь, о детях или стихах? Если бы речь шла исключительно о стихах, то к чему сравнение «лелеемого» с первыми стихами?

В колыбель ложатся, конечно, дети, а «имена» – метонимия для тех же детей. Но ведь не случайно дети как таковые не упоминаются, вместо «детей» сказано: «имена». И не случайно дети, не названные прямо, их рождение и сбережение-лелеяние сравниваются с рождением-воркованием первых стихов. Одно отражается в другом, и здесь источник силы стихотворения. Но есть и другой – отмеченный темой «стекла»: «спина моя торчит в звенящее стекло». Это о чём? И как это связано с темой лелеяния детей и воркования стихов?

¹² Целиком он опубликован в сборнике «Переход».

А так, что «стекло» – образ смерти («чтобы не биться так, / как птица о стекло, о смерть...»), точнее, смертного, того, что бьётся, разбивается со звоном. И стекло это в конце стиха противопоставляется хлебу: «Так дай же мне Твой хлеб, я не люблю стекло!» Стекло разбивается и убивает.

Тленное и смертное противопоставлено этому хлебу жизни, которого взыскует поэт. Стихотворение рождается как прорыв из стеклянного мира к Тому, Кто вводит в права наследования. Наследования слова и жизни. Начинается стих с обращения (теперь мы знаем, к Кому): «скажи, зачем бреду...» и со следующей за ней «погудки», как называл её Мандельштам: «и звон такой в ушах / ни звука не пойму», когда музыка и слово ещё слиты (понимания, логоса ещё нет); далее мы присутствуем при муках рождения слова. А в чём, собственно, мука? А в том, что настоящая поэзия – страшное дело, прорыв к трансцендентному, и такой прорыв за пределы стеклянного мира угрожает разбить вдребезги этот мир, а ведь тут дети по плоти, их нельзя убить, их нужно сберечь, но и отказаться от погудки, от музыки тоже нельзя. На столкновении необходимости не убить, а сохранить здешнее и откликнуться на зов Того, Кто по ту сторону стеклянного мира, Кто за стеклом, – и рождается это стихотворение. Тогда-то «дети» и превращаются в «имена», то есть тленное и плотское преобразуется в словесное.

1990 г.

Часть 1

Последний год существования СССР, когда старый режим уже настолько ослаб, что начал отменять сам себя (отмена 6-й статьи о руководящей и направляющей) и разжал все (или почти все) свои идеологические и политические клешни и челюсти, оказался, конечно, важным и для нас – даже более важным, чем следующий, 1991 (год ГКЧП и распада СССР). В этот год произошло столько событий, что о каждом из них можно было бы весьма пространно написать. Но я ограничусь лишь самым общим описанием и характеристикой происшедшего, разделив все это на несколько рассказов.

Для начала же просто перечислю (в случайном порядке). 1990-й – это год образования Высшей религиозно-философской школы (ВРФШ), где в разном качестве и на разных должностях я проработал до 2008 г. (первое время совмещая с работой кочегаром, а с 1992 г. перейдя туда на постоянную работу). В 1990 г. мы с Олей впервые съездили за границу (это была – проездом один день – только что воссоединившаяся Германия (Берлин), и целый месяц Франции), а перед этим Оля съездила, вдохновленная рассказами Кати И., на две недели в только что начавший возрождаться Шамординский монастырь (и написала очерк об этой поездке). На рубеже 1990–1991 годов в церкви Рождества Иоанна Предтечи, на Каменном острове, совсем недалеко от нашего дома, появился настоятель иеромонах Валентин (Соломаха), и мы на много лет обрели свой приход, духовника и общину. Наконец, в этом году стало понятно, что у нас будет третий ребенок. С этого я, пожалуй, и начну.

Честно говоря, я никогда не был сторонником православной многодетности, воспринимал ее как прямую угрозу своим интеллектуальным занятиям (как я их понимал и практиковал), так что, вполне удовлетворив родительский инстинкт двумя – к тому же разнополыми – детьми (и едва справляясь, да и то с помощью бабушек-дедушек, с ними), мы с Олей больше детей иметь не собирались. Но регулирование рождаемости никогда не было сильной стороной нашей семейной жизни. Так что, когда Оля все же забеременела, это было для меня шоком. Помимо всех предстоящих забот – опять по новой все эти стирки, ночные вставания и т.д., и т.п. (т.е. трудностей этого рода), на рубеже 90-91 гг. заводить детей было делом рискованным в чисто материальном смысле. В эти годы даже в таких городах, как Питер, с элементарным прокормом были серьезные проблемы. Я уже забыл сейчас все

подробности, но питались мы очень скудно. Так что не удивительно, что в эти годы (в отличие от конца 80-х – времени надежд) рождаемость резко упала.

Но все же главным моим ужасом перед лицом рождения очередного ребенка был страх утраты свободы (попросту, времени и места для своих интеллектуальных занятий). Об аборте речи не было – мы считали, что православным это «низзя». Вам смешно, а меня это все тогда реально испугало. Однако, написав, впервые за долгое время, стихотворение о страхе потерять свободу, который (страх), коли у нас есть, то и свободы нет, и кое-что поняв на этот счет, я принял то, что выпало.

Что до третьего ребенка (мы назвали его Федор, в честь ближайшего к его дню рождения святого), то парадоксальным образом растить его было куда проще предыдущих. И мы были уже более опытными, и как многодетным нам все, кто мог, помогали, так что проблема прокорма и для остальных детей, и для нас самих, как ни странно, стала решаться куда проще прежнего. Ну, и ребенок этот оказался самым интеллектуальным и моим занятиям не мешает, а до сих пор способствует, сам занимаясь смежными вещами¹³.

1990 г.

Часть 2. Французская феерия

Наша с Олей поездка за границу осенью 1990 г. оказалась возможной благодаря приглашению со стороны неких состоятельных православных русских во Франции (потом мы узнали, что это было семейство Поздеевых), которые спонсировали встречу представителей православных активистов из России с таковыми с Запада, главным образом, из Франции. Ни я, ни Оля к тому времени православными активистами не были (мои семинары в ОХП не были православными ни разу), но нас сосватал в качестве таковых уже известный во Франции В. Лурье. Так что поехали мы туда в качестве активистов авансом, и надо сказать, в ближайшем будущем, до некоторой степени, кое-чему научившись от французских православных, такими «активистами» стали (еще расскажу, в чем это выразилось).

Такая же возможность – поехать во Францию – (еще до нас) предлагалась и А.Ш., но он (как я только сейчас узнал), пригласив ради компании с собой Олега Ноговицына и получив отказ, поглядел на него, и тоже отказался – истинные философы! Ну, а мы с Олей – совсем не философы, и были рады и признательны за возможность первый раз выбраться из советского отечества (к тому же от детей, оставленных на бабушку, отдохнуть – в перспективе скорого появления третьего).

Опуская контрастные впечатления от Берлина – безвкусная роскошь Западного, запущенность Восточного, и раздолбанная уже почти разобранный на сувениры стена между ними, перейду сразу ко Франции.

Французская сторона обеспечивала две недели в Бюсси, где, в монастыре, собственно и проходили сами эти встречи, а потом мы могли провести еще две недели в Париже в квартире Тани Горичевой, которая любезно предоставила нам от нее ключи в свое отсутствие. В Бюсси-то нас французы кормили, а вот в Париже мы должны были как-то жить и кормиться сами. Хорошо было бы еще (при нашей бедности), как говорится, «оправдать поездку», то есть покрыть потраченные на дорогу деньги – одним словом, обычные проблемы советских туристов того времени. Не буду вдаваться в детали, кто знает, тот знает, а кто не знает, слава Богу, того стыда и позора.

В отличие от нас с Олей, другие члены группы (к сожалению, я запомнил не всех) из России были людьми известными и много сделавшими или имевшими сделать в ближайшее

¹³ Средневековой философией (только я византийской, а он – в качестве доцента Эдинбургского университета – исламской).

время. Из запомнившихся это были Зоя Светова, два будущих протоиерея Лев Большаков и Александр Степанов (тогда они всю готовились к этому поприщу) и ставшая дорогим мне на всю жизнь человеком Татьяна Трефилова, к тому времени уже опытный педагог для детей с отставанием развития (самоотверженный человек), а в будущем еще и известный церковный краевед.

Не буду утомлять рассказом о встречах с западными, главным образом французскими православными, расскажу лишь о самом травматичном, точнее позорном, что было в Бюсси, и самом поразившем меня и замечательном. Самой травматичной была европейская еда. В последний год СССР в Питере мы питались весьма скудно – и по количеству, и, главное, по качеству пищи. И вот эти, даже сами не знавшие этого о себе, полуголодные люди дорвались до пищи из рациона французского буржуа среднего достатка; многого из этого они и названий-то не знали, и вкуса никогда не пробовали. Не удивительно, что вся эта еда сметалась без остатка в немалых количествах, так что наши хозяева – по слухам – поражались нашей прожорливости. Никакой чинности и благовоспитанности (не говорю, аскетизма) мы не проявляли. Это было позорно, но как было, так и пишу. Набив себе брюхо этой изысканнейшей по нашим понятиям едой, мы потом подремывали на докладах, которые представила западная, главным образом французская сторона – о славном пути русских православных в эмиграции, об истории монастыря, роли мирян в церкви, истории РСХД, значении Собора 1917–1918 гг., о детском православном воспитании... Не слишком адекватный подход к восприятию духовной пищи. Может, кто-то из нашей группы вел себя иначе (не хочу бросать тень на всех), но мы с Олей под это описание подпадаем.

Что до самого замечательного, что мы увидели в Бюсси, то это, увы, не подвижники благочестия (за одним исключением, о котором я расскажу в другом месте), которых мы по своей духовной слепоте не умели разглядеть, а окружавшая монастырь природа, – и не только ее красота. Нас поражало, когда вечером мы отправлялись на прогулку, что созревшие грецкие орехи валяются прямо на земле, и никто их не подбирает, что яблони стоят почти без листьев, усыпанные огромными яблоками... Сама земля Бургундии поражала своей щедрой благодатностью, очевидно, отвечающей сторицей на заботу и уход за нею человека. На меня лично это произвело *большее* впечатление, чем Париж.

Что доклады западных православных мы слушали вполуха, это я, может быть, на себя отчасти и наговариваю. Что-то в меня, безусловно, входило. Вообще, забегая вперед, скажу, что весь следующий период моей церковной жизни можно условно назвать «евлогийским», не в том смысле, что я как-то входил в юрисдикцию тамошнего Экзархата, но в том, что так или иначе, сознавал я это или нет, я пытался осуществить в себе самом нечто вроде главных духовных установок евлогий – на творческое и гармоничное соединение христианства и европейской культуры. Итогом и вместе с тем и концом этого периода в моей жизни была написанная в 2001 г. (опубликована в 2003-м) книга о матери Марии (Скобцовой) («Мать Мария (1891–1945). Духовная биография и творчество». СПб.: ВРФС. 2003) – самом ярком представителе «евлогий», в какой-то мере, как я пытаюсь это показать, преодолевавшей свою среду изнутри.

Возвращаясь же к нашей поездке: после двух недель санаторного режима в Бюсси мы приехали в Париж. Там сначала тоже было несколько интересных встреч, из которых больше всего запомнилась – с о. Борисом Бобринским, первым увиденным мною благородным во всех отношениях человеком. Из той аристократии, которая должна была бы править в России, но увы... Повезли нас конечно и в институт преподобного Сергия, тем более что был как раз день его памяти. Там мне почему-то более всего запомнился не сам институт, и не храм, показавшийся каким-то уж слишком нарочито «теремочно-русским», и даже не жена французского президента Миттерана, пришедшая поздравить русских, но голодные студенты из России и бывшего соцлагеря, которых пустили в день праздника бесплатно подхарчиться.

По всему их виду и поведению было понятно, что они сильно голодны. Вскоре и мы оказались в положении почти нищих в Париже – хорошо лишь на короткое время. Но нам предстояло эти две недели как-то прожить – вот гдегодились некоторые накопленные в Бюсси дармовые калории!

Но все же мы приехали в Париж не с пустыми руками. Ну, во-первых, у нас был чемодан сухих супов из макарон, и (о, чудо!) пара палок сухой колбасы. Во-вторых, предполагая, что нам придется там как-то выживать, мы кое-что написали и надеялись это куда-то пристроить и получить хоть какие-то гонорары. На ура прошел лишь Олин очерк о ее поездке в Шамординский монастырь, тогда только вновь открывшийся. Без затей, но точно и «с натуры» написанный и с ноткой надежды на возрождения веры в России в конце. Он был с радостью взят в «Русской мысли» и немедленно напечатан. Так что мы успели, хоть и мельком, повидать легендарного Александра (Алика) Гинзбурга, вручившего Оле первый (и последний) в ее жизни литературный гонорар – 300 франков.

Олин очерк у меня сохранился. Приведу (ради духа времени) только его последний абзац:

«Обстановка вокруг монастыря... военная. Крестьяне, живущие вокруг него в деревне, не любят “монастырских”, не хотят помогать им, считают захватчиками. После революции в храме был горчичный завод, склад, потом школа механизаторов, а в трапезной – клуб, танцы. Но ночам подростки, молодежь со всей округи собираются сюда по привычке, подъезжают на мотоциклах местные рокеры, и тогда во тьме раздаются странные завывания, визг, хохот, не похожие на человеческие. С четырех часов ночи после полунощницы и до восьми утра (утренней службы) спят сестры, но окружающий мир не отпускает их. Неведомая сила притягивает к монастырю чужих неприкаянных людей. Они никогда не приходят днем, ими движет не любопытство, но страшный, невыносимый духовный голод. Он корежит и ломает в ночи их детские голоса, переходящие от рычания к визгу. Им здесь не весело, им здесь страшно, и они каждый вечер едут не в соседнюю деревню в клуб, где танцы и музыка, а сюда, в старый, заброшенный сквер у монастыря. Не любят монастырь и пожилые крестьянки: “зачем они рвут цветы в моем огороде, я вот их взяла, да скосила косой!” Не любят – и как будто стоят в осаде вокруг монастыря – то сено у монахинь подожгут, то еще что сделают – сами не знают: что? и зачем? – притягивает их монастырь, и это не понятно и болезненно. Так у тяжелобольного ноют, свербят его раны, но это лучше, чем смерть, лучше, чем гнить заживо. Боль страшная, но значит есть надежда на поправку».

В отличие от Олиных, мои походы по парижским издателям были не так успешны. Милейший и симпатичнейший Никита Струве с удовольствием взял большой отрывок из нашей с А.Ш. работы о Мандельштаме для «Вестника РСХД», но гонораром не побаловал, а солидный и строгий Владимир Максимов за предложенную для «Континента» статью с моими досужими рассуждениями об «истории болезни» политической системы в России выложил, помнится, аж 500 франков, но статью публиковать не стал (и правильно сделал). Она частично у меня сохранилась, и сейчас ее тезис, каким он предстает на сохранившихся страницах (про неумение играть в социальные игры по правилам, Хейзинги, что ли, начитался?) выглядит слишком легковесным. Так что в качестве политического мыслителя мне заявить о себе не удалось.

Итого 800 франков (где-то около 150 долларов по тогдашнему курсу) – на две недели на троих (с нами в квартире Т. Горичевой была еще Таня Трефилова). Что-то по мелочи нам дали «на дорожку» французы, однажды Бог послал на мостовой Парижа довольно приличного номинала денежную купюру, но в целом как-то мы, слегка подголадывая и питаясь главным образом сухими супами и видами Парижа, носясь по нему, из конца в конец,

из музея в музей, перепрыгивая через турникет в метро (в том числе и Оля с пятимесячным ребенком внутри...), как-то мы эти две недели весело провели... Помогли, конечно и походы поздно вечером к продавцам овощей и фруктов, у которых всегда что-то оставалось для бедных русских – слегка помятое и подпорченное... Под конец, пустив на прощание слезу на Елисейских полях под звук шарманки, полные впечатлений, вернулись (через тот же Берлин, где купили два видака, на продажу, чтоб оправдать поездку) восвояси.

Морали не будет (как говорится, не будем о печальном), а будет, но не здесь, а в другой части рассказ о том, как эта поездка побудила нас на некий православный активизм.

1990–1992 гг.

Часть 3. Так начиналась ВРФШ

Писать о создании и открытии в 1990 г. Высшей религиозно-философской школы (ВРФШ) я подробно не буду. Я не был среди самых главных ее основателей. Написал, было, «отцов-основателей», но пришлось отказаться, т.к. одной из главных, а потом и вовсе главной в ВРФШ, была Наталия Александровна Печерская (Н.П.). Помимо нее были и отцы-основатели, к коим можно причислить: Алексея Чернякова (А.Ч.)¹⁴, Олега Ноговицына (О.Н.)¹⁵, Аркадия Шуфрина (А.Ш.)¹⁶, Вадима Лурье (В.Л.) и Андрея Парибка (А.П.)¹⁷. К работе в ВРФШ было привлечено много других замечательных преподавателей и ученых, но первые два года – до того момента, когда В.Л. от ВРФШ отошел (в 1992 или 1993 г.), а А.Ш. (в 1992) уехал в США поначалу учиться, а потом там остался, именно перечисленные лица составляли, я думаю, преподавательский костяк Школы.

Потому и историю создания ВРФШ мог бы написать только кто-то из них, но А.Ч. и О.Н. уже нет с нами, остальные к мемуаристике не склонны. Надеюсь, что Н.П., у которой сохранилась вся документация, когда-нибудь напишет историю ВРФШ, было бы совсем не лишне. Хотя я понимаю, насколько это на самом деле тяжело. И дело тут не только и не столько в том, что нужно обобщить много документов и хорошо покопаться в памяти, намного тяжелее не это, а то, что история ВРФШ – одновременно и славная (особенно в первые, примерно, лет 10 существования), и печальная, а в чем-то даже и трагическая. И сейчас, когда я по ходу своих мемуаров подошел к моменту ее создания и первых лет своей в ней работы, и мне предстоит об этом всем написать, я не могу выкинуть из головы и ту, вторую часть истории Школы, как проекта, который в условиях современной России был реализован лишь частично, да и то в существенно ином виде, чем складывался поначалу.

Возникшие одновременно с ВРФШ Русский христианский гуманитарный институт (РХГИ), позднее академия (РХГА) и Институт богословия и философии (ИБИФ) (второй, правда, не с некоторыми оговорками) выжили и существуют до сих пор, а ВРФШ как институция прекратила свое существование и осталась лишь в сердцах тех, кто работал и учился в ней. Почему так? У этого множество причин, и я не стану здесь заниматься их анализом – это бы сильно увело меня от, в целом, ненавязчивого повествования моих мемуаров. Единственно, что я могу *ad hoc* предположить, – с самого начала у всех участников были достаточно разные цели и устремления, что и выразилось в том, что, в конечном счете, большинство (вслед за А.Ш. и В.Л.) – сначала А.П., а потом и А.Ч. (каждый по своим причинам) покинули ВРФШ. Итак, Школа, не прожив и четверти века, ушла в

¹⁴ Впоследствии – один из крупнейших в России философов-феноменологов (см. о нем статью в Википедии)

¹⁵ См. о нем статью в Википедии и мой рассказ в: Г. Беневиц. Взросление. Ч. 2 (ожидается в: Звезда. 2026. № 4., глава «Встреча с философом»).

¹⁶ Философ и патролог, ныне живет и работает в Принстоне.

¹⁷ Философ, один из крупнейших в России востоковед и специалист по буддизму (см. о нем статью в Википедии).

историю, но – и это тоже несомненный факт, каждый из участвовавших в ее основании из перечисленных мною «отцов» состоялся как крупная личность, философ и/или ученый. В какой-то момент, видимо, Школа стала тесна, мешала самостоятельному развитию, и в этот момент он ее покидал (под тем или иным предлогом). В этом нет никакого криминала – обычная жизнь, но каждый такой «откол» или «исход» воспринимался оставшимися чрезвычайно тяжело.

Говорю я сейчас обо всем этом, в первую очередь, с той целью, чтобы подвести читателя к моменту, когда Школа, где начинали преподавать столь яркие и сильные – как показало будущее – и самостоятельные по своим устремлениям личности, только открылась и стала одним из главных центров притяжения в Питере для десятков, если не сотен молодых людей обоего пола, буквально ломившихся на лекции и семинары только что образованной ВРФШ (хотя они были платными!), проходившие первое время в Кунсткамере. Было весьма забавно слушать лекции и преподавать среди причудливых и экзотичных экспонатов Кунсткамеры – всех этих заспиртованных уродцев и экзотических фигур. Мы и сами, с нашим религиозно-философским образованием, были тогда чем-то экзотическим, а в какой-то мере и юродским в тогдашней России.

Духовный и интеллектуальный (тогда они не особо различались) голод по неподконтрольному государству знанию в области религиозных традиций и неофициальной философии у интеллигенции был колоссальный. И любой преподаватель, который и сам-то, может быть, совсем недавно сумел обрести эти знания (зачастую неполные и отрывочные) своими собственными усилиями, а не обучившись им в университетах, мог легко увлечь слушателей и стать их кумиром. Так вскоре и произошло с большинством из перечисленных преподавателей. На лекции и семинары их, повторяю, слушатели ломились.

При этом первые слушатели ВРФШ учились не только и не столько тому, что называется «знанием», сколько самому умению его добывать. Учились вслед за недавно научившимися этому преподавателями – по-философски мыслить, читать и понимать сложнейшие философские тексты, вникать в древние традиции (как буддизм или православное христианство), постигать их интеллектуальную и духовную красоту. Сам процесс мышления, чтения и понимания, как и толкования древних текстов, но так же и классических текстов русской литературы, был тем, чему в ВРФШ учили с самого начала. Именно в этом контексте и я вел свой семинар по герменевтике поэзии, тоже пытаюсь посылить передать свои недавно обретенные навыки нетривиального прочтения сложных поэтических текстов, главным образом на материале классической русской поэзии XIX в., обсуждая при этом и суть поэзии как таковой (для чего привлекались разные эстетические теории).

Позднее, в 1992 г., мне нашлось и еще одно применение в ВРФШ – меня сделали главным редактором (официальное название должности по трудовой книжке), а на практике редактором-составителем «Трудов ВРФШ». Так мое благоговение перед олимпийцами-философами и патрологами-богословами, а потом и настоящими искусствоведами (сам я ни тем, ни другим, ни третьим не был) могло выразиться в помощи в собирании и издании их трудов. Именно на эту работу, а вовсе не преподавателя (хотя все время что-то понемногу преподавал), я и перешел в 1992 г. из кочегаров. Преподавать более или менее серьезные предметы (а не придуманную мной самим герменевтику поэзии) я стал позднее, уже вернувшись из Оксфорда, т.е. в 1995 г. Но об этом напишу в свое время.

Здесь же я хочу упомянуть эпизод из истории издания первого тома «Трудов ВРФШ» в 1992 г., он назывался «Патрология»¹⁸, Философия, Герменевтика». Поскольку на мне лежали хлопоты по собственно напечатанию этого уникального сборника, то запомнился такой факт

¹⁸ Патрология – наука, изучающая творения и жизнь отцов Церкви.

– отличную финскую бумагу на него, в то-то время страшного дефицита на все, включая бумагу, выделила из своих запасов совершенно безвозмездно Духовная Академия и лично ее ректор протоиерей Владимир Сорокин. И это при том, что содержание этих «Трудов» только на очень маленькую, хоть и удаленную часть (гвоздем там была статья В. Лурье) имело отношение к православию. Остальные же материалы сборника – больше 80 процентов – к православию никакого отношения не имели¹⁹. Это было время, которое можно было бы назвать «медовым месяцем» (хотя длилось оно не месяц, а несколько лет) в отношениях РПЦ (МП) и интеллигенции.

Община храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове, возникшая вокруг его настоятеля иеромонаха Валентина (Соломахи), появилась именно в это время.

1990–1991 гг.

Часть 4. Неофиты

В 1990–1991 гг, т.е. только через пять лет после крещения, мы вошли наконец в пору православного неофитства, начали регулярно и сознательно ходить в церковь. Этому сильно способствовало то, что где-то в это время в ближайший к нашему дому храм (всего 10-15 минут ходьбы) был назначен настоятелем иеромонах Валентин (Соломаха), который совсем недавно – 9 сентября 1990 г. – был рукоположен митрополитом Иоанном (Снычёвым). На той же самой службе, когда был рукоположен в иеромонахи о. Валентин, был рукоположен в иеродиакон Борис Куприянов²⁰ – один из немногих представителей питерской неофициальной культуры (замечательный поэт, друг Кривулина, Ширали, Охапкина и Чейгина), который стал священником и целиком посвятил себя этому.

Не знаю, что имел в виду митр. Иоанн, ставя о. Валентина настоятелем храма на Каменном острове, но назначение это было, несомненно, не случайным. Совсем недалеко от храма – митрополичья дача, на которой он нередко бывал, откуда заезжал порою и в храм. И думаю, что ему хотелось, чтобы в храме по соседству был настоятелем человек, который лично ему был симпатичен. Это с одной стороны, а с другой – человек, который бы смог создать хорошую общину, в которой было бы приятно время от времени появляться. Возможно, в этих рассуждениях я и ошибаюсь: мотивы и логика церковников – вещь таинственная, и я не могу похвастаться тем, что я в ней за долгие годы соприкосновения с ними хоть чуть-чуть лучше начал разбираться.

Как бы то ни было, о. Валентин по своему духу и всему этосу своего служения на тот момент в точности совпал с колоссальной потребностью, имевшейся в нашей среде (не случайно же мы так долго не смогли толком воцерковиться). Мне даже трудно сейчас сформулировать, в чем эта потребность заключалась. Нет, не в человеке, способном вести умные разговоры на богословско-философские темы, произносить умные проповеди или вести душещипательно-спасительные разговоры на религиозные темы, но, пожалуй, в человеке, священнике, который при всей своей интеллигентской сложности мог бы, несмотря на нее (но и не как-то искусственно опрощаясь), предстоять пред Богом и быть примером в этом для других. Такого примера мы до сих пор не видели, а в лице о. Валентина его нашли.

Это все, что я хотел бы пока сказать на этот счет, объясняя, прежде всего самому себе, почему мы (где-то с конца лета 1991 г.) в этот храм начали регулярно ходить. А я, вписавшись в очередь на ночное дежурство по охране храма, стал в нем и достаточно

¹⁹ Это были блестящие статьи О. Ноговицына и А. Чернякова по философии, один из первых переводов Э. Левинаса на русский (работа «Время и Другое»), выполненный А. Парибком, и наша с А. Шуфриным работа о Мандельштаме (до этого ходившая в самиздате).

²⁰ <https://globus.aquaviva.ru/books/pages/zhizn-eparkhii-sentyabr-1990>.

регулярно ночевать. Все это время, пока следующий митрополит – Владимир (Котляров) – в 1996 г. на Пасху не изгнал о. Валентина из храма на Каменном острове, этот храм был нашим вторым, а в каком-то смысле и первым, домом. Тем самым местом, про которое как будто бы сказано: «ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти...».

Сказанное не отменяет того, что в эти годы церковное возрождение, прежде всего среди так называемых советских образованцев, коснулось и многих других мест и общин. Просто нам Бог послал на тот момент именно о. Валентина. При этом «медовый месяц» в отношениях РПЦ (МП) и интеллигенции охватил в это время многие храмы и приходы. Например, весь почти 1990 г. Оля вместе с женой Олега Ноговицына, Женей (были там и другие наши общие знакомые), ходила петь на утренней службе по субботам в любительском церковном хоре при Духовной академии. Регентом там был выпускник Консерватории Виталий (фамилии его не помню), впоследствии рукоположенный священником. То есть представьте себе – мать двоих маленьких детей, беременная третьим (она не перестала ходить и осенью), тащится к 7 утра (для чего нужно встать в 6) на другой конец города, чтобы петь (конечно, абсолютно бесплатно) в церковном хоре, и это при том, что в отличие от Жени Ноговицыной, Оля не имела музыкального образования. Но такой уж был этот драйв неофитства! Так что дело тут не в одном о. Валентине, но в том самом духе церковного возрождения и связанных с ним надеждах, которые охватили многих в нашей среде, да и не только в нашей, хотя интеллигенция начала воцерковляться из советского неверия, наверное, первой из других сословий российского общества.

Теперь о нашем с Олей православном активизме того времени. Он заключался не только в Олином церковном пении в Академии и моих ночных дежурствах по храму. Насмотревшись на французских православных, мы решили, что миряне вполне могут и должны вносить свою лепту в церковное просвещение. И тут, как и в дальнейшем в своей издательской деятельности, я решил сделать книгу, которую бы хотел в качестве церковного человека прочесть и иметь сам. Так появилась идея книги «О жизни православных святых, иконах и праздниках (согласно Церковному Преданию)» (орфография моя, того времени), написанная на основе Четвх-Миней и разной доступной нам тогда популярной агиографической литературы. Привлек я к этому делу Олю (она-то и значится главным составителем книги, чтоб не пугать моей еврейской фамилией издателей, продавцов и покупателей) и Бориса Останина²¹. Участники должны были не только сами просветиться, работая над этой книгой, но и, по моим прикидкам, получить, хотя скромный, гонорар. Расчет оправдался благодаря тому, что книгу удалось недорого издать в типографии, которой заведовал Олин папа, Александр Георгиевич. Так я привлек сына бывшего первого секретаря горкома партии (самого члена партии) к изданию книги о святых, он же участвовал в ее распространении по храмам.

Когда же встал вопрос об издательстве, то мы, не помню уж почему, решили обратиться в Институт культуры, в просторечии именуемый «Кульком», и они согласились. Более того, они согласились даже с моим доводом, что в названии их учреждения, которое будет значиться на книге, не следует упоминать имя жены вождя пролетарской революции, чьего имени был тогда этот институт. Действительно, как-то не очень вяжутся святые и иконы с Крупской... Не очень вяжется со святыми и иконами и слово «Ленинград» в выходных данных и в названии «Кулька», но от этого пока отказаться было невозможно, город еще не успели переименовать – книга вышла в самом начале 1991 г., еще до путча и развала СССР. Рецензентом книги выступила ВРФШ в лице канд. фил. наук М.А. Моминой. Своего собственного издательства у ВРФШ тогда еще не было, но вскоре оно появится (этим я тоже буду заниматься).

²¹ См. о нем статью в Википедии.

Что до Бори Останина, то забавно, что примерно в то самое время, как он участвовал в нашем предприятии, в издательстве «Васильевский остров» он издал книгу Карлоса Кастанеды «Дверь в иные миры» (1991) в своем переводе и намеревался и вовсе издать полное собрание сочинений Кастанеды (о чем я узнал недавно из мемуаров Саши Кобака). Этой затее помешало отсутствие авторских прав (первый же том был напечатан до подписания конвенции о них). Не думаю, что Боря практиковал оккультизм в духе Кастанеды, но как писателя, за стиль и драйв он его, очевидно, ценил. Наше же издание про святых было явно не из области «прекрасной литературы». В литературном, да и в научном отношении книжка была совершенно заурядна и вторична, но тогда это был для нас своего рода прорыв – в другую эпоху, с другим, по сравнению с советским, мировоззрением. Казалось, так круто опубликовать в издательстве советского «Кулька» книгу с таким содержанием, да еще с большим православным восьмиугольным крестом на обложке (по моим нынешним понятиям, выглядящую безвкусно).

Так вот и получилось, что я, воцерковившись, затеял дело, в котором отступил от важной для себя в прежнюю эпоху ценности – издал, втянув в это других, книгу православного ширпотреба, если называть вещи своими именами. Книгу, которая по тому гамбургскому счету, который был важен для меня в прошлую эпоху, где я вслед за Мандельштамом утверждал: «все другие различия и противоположности бледнеют перед разделением ныне людей на *друзей и врагов слова*», – по самому факту ее предназначенности для массового читателя (коррелят хоть какого-то заработка), по своей глубокой стилистической, да и содержательной вторичности явно была предназначена не для друзей слова. Утешал я себя, очевидно, тем, что зато она предназначена для друзей Слова с большой буквы и им же посвящена. Но разрыв с собою прежним без глубокой проработки соотношения прежних и новых ценностей был налицо, и он еще не раз давал себя знать в 90-е годы (да и позднее), когда я пытался так или иначе, зачастую без особого успеха, его устранить.

Пока же мы издали эту, полезную, в общем-то, для православных неопитов книжку, и она тут же была раскуплена. Храмы, начиная с нашего, на Каменном острове, ее охотно брали. Никакой цензуры не было, содержание было вполне православное, и все 12 тысяч, изданные в типографии моего тестя, разошлись как горячие пирожки за несколько месяцев. Вскоре со мной связались люди из Свердловска (так тогда назывался Екатеринбург), и за небольшую мзду мы предоставили им право на переиздание книги тиражом в 100 тысяч, плюс к тому я еще по их просьбе ходил в «Музей религии и атеизма», за немалые по тем временам деньги добывал хорошие фотографии, точнее слайды, некоторых хранящихся там икон, чтобы снабдить книгу иллюстрациями, которых не было в питерском издании. Помню, как я сидел в дирекции музея, ожидая решения по моему вопросу, когда туда сообщили, что в запасниках музея обнаружены вслед за мощами Серафима Саровского мощи Иосафа Белгородского (это было, значит, 28 февраля 1991 г.), и с каким сокрушением, что предстоит возня еще и с ними, встретили это в дирекции. Такие были времена, такие были события.

В Сибири потом книгу, говорят, переиздавали еще несколько раз, но гонорара с нее мы потом ни разу не получали.

Что до нашего православного активизма и участия в жизни прихода, то он на этом не кончился, но это уже дело более позднего времени, требующее отдельного рассказа, как и то, что происходило далее в нашем храме.

1991 г.

ГКЧП, или как я спасовал

Этот рассказ будет кратким – в решительный день, точнее, в наступившую ночь ГКЧП

я вместо того, чтобы идти защищать завоевания демократии, выйти к Мариинскому дворцу, как нас призывало «Радио Балтика», остался дома с детьми и женой, которая, как я почувствовал, ожидала от меня другого поведения. Но я и по жизни трусоват, и ответственность за троих малых детей – все это вместе сковало мою решимость «выйти на площадь», когда весы истории колебались, не зная, кому отдать предпочтение. (Оля вспомнила, что мы долго обсуждали, кому из двоих пойти, исходя из того, кто нужнее детям, но в результате остались оба, с замиранием слушая последние известия по независимому радио.) На следующий день я узнал, что многие мои друзья демократических убеждений (не все они, кстати, таковы), бывшие в это время в Питере (например, Дима Панченко или Алеша Черняков), не колеблясь пришли к Мариинскому дворцу, и мой стыд, и без того не дававший мне покоя, от этого только усилился.

На следующий день мы конечно вышли на Дворцовую площадь и были в этой огромной ликующей толпе, которую приветствовал А. Собчак, но это было уже совершенно безопасно. А мой стыд оставался во мне, и никак не отпускал. Чуть-чуть успокоился я только после того, как описал всю эту историю – все, что со мной произошло, в письме к Джиму Кейтсу в Америку. Он еще потом, как он рассказывал, перевел мое письмо и опубликовал в *Keene Sentinel newspaper*... Ну, а по части «обнажить свой стыд» я, как видите, и до сих пор не чуюсь этого «приема».

Расскажу уж, к слову, о том, как ГКЧП пережил мой друг А.Ш. Он был в это время в Британии, где, будучи там по другому поводу, попал на лондонскую конференцию, посвященную столетию О. Мандельштама. Конференция была очень представительная – она собрала весь цвет мандельштамоведения и вообще просто весь цвет (включая такие фигуры, как И. Бродский или С. Аверинцев). Червячок зависти, когда я узнал об этом, прокрался в мое сердце. Тем более что А.Ш. в ту же поездку сумел посетить и монастырь Иоанна Предтечи в Эссексе, куда попал, кстати, через меня же. Будучи в Бюсси, я познакомился с архимандритом Симеоном (он был духовником некоторых сестер Бюсси), правой рукой знаменитого архимандрита Софрония (Сахарова) в Эссексе, автора книги о старце Силуане. А.Ш. связался с о. Симеоном, находясь в Британии, сославшись на меня, и был приглашен посетить монастырь и пожить в нем. Так он там и оказался и успел еще до его кончины пообщаться с архимандритом Софронием.

Ну, так вот, в разгар ГКЧП А.Ш. находился в монастыре, а жена его и маленький сын были в Питере. Можно представить, как он был взволнован всей ситуацией, ведь победы ГКЧПисты, неизвестно, сможет ли он увидеть своих родных, да и вообще... Молился, наверное, за правую сторону. Когда же дело разрешилось так, как оно разрешилось, о. Софроний прислал А.Ш. бутылку вина, чтобы он отметил победу сил добра. Позднее А.Ш. попросил у архимандрита Симеона рекомендацию для поступления в Св. Владимирскую семинарию в Штате Нью-Йорк, к о. Иоанну Мейендорфу, куда в конечном счете и поступил, в том числе благодаря этой рекомендации. Вот такая история. А что стало с моей завистью, я расскажу дальше.

Знаменательная встреча

Как читатели этих мемуаров, быть может, заметили, в 90-е годы я совершенно выпал из литературной жизни Питера, в которой варился в период активности Клуба-81. Семейная жизнь, а потом неофитство и занятия всякими религиозно-философскими делами от литературной среды меня отвадили. Однако было одно памятное исключение, о котором я забыл рассказать, а сейчас вспомнил. Дело было, кажется, весной 1993 г. Боря Останин (вроде бы именно он) нашел средства для мощного фестиваля некогда неофициальных литераторов не только из Питера, но и из Москвы, Киева, Саратова, откуда-то еще... в

Смоленске. Ну, и по старой памяти позвал и меня. Так я оказался снова в одной компании со многими своими старинными соратниками по Клубу-81 и вообще по неофициальной культуре, которых, конечно, рад был всех видеть. А в одном номере в гостинице я оказался с Сергеем Стратановским. Это была замечательная встреча, от которой у меня остались две выпрошенные мною странички с его тремя стихами (вошедшими позднее в книгу «Тьма дневная»), два из которых, на мой взгляд, уже стали, ну, или станут рано или поздно, классикой русской поэзии. Кажется, они были совсем недавно написаны Сергеем, и я помню это потрясающее ощущение и от них самих, и от того, как он это читал. На фоне моего наивного неопитства они звучали как гром с ясного неба...

И мне бы следовало тогда не только восхититься ими как стихами, но и прислушаться к их смыслу. Вот одно из них:

Кто Он там – мифом миф вышибающий
Затевающий в мире муру
То в Грядущую Мощь завлекающий
То ломающий грубо игру

То манящий лугами зелеными
То до взбрыка пытающий нас
Беспредельными мертвыми зонами
Над которыми космос погас

Бог здесь далек от того благодушно-неопитского образа, в который я, сознавая это или нет, верил тогда. У Сергея Он куда ближе к библейскому.

А вот второе его стихотворение, которое он мне прочел тогда:

Неужели так называемая духовность
И так называемая душевность
И русского леса волшебность
И русского поля лиричность
И так называемая личность
И стих ершистый, на шерсть похожий
И так называемый «пламень Божий»
Всего лишь функция нервных клеток
И разрушаются от таблеток

– (у второго стихотворения в окончательном варианте добавилась еще строчка: «Да и вообще – разрушаются», но в автографе, который сохранился у меня, ее еще нет).

Здесь тоже задаются те самые страшные вопросы, которые однажды встанут и передо мной. Но в ту встречу я был просто поражен пронзительной и страшной силой этих стихов.

P.S. С Сергеем Стратановским у нас вообще по жизни время от времени случаются удивительные встречи. Так, кажется, в 1989 году Сергей с Валей отдыхали в Неменчине, под

Вильнюсом. А встретились мы с Олей с ними случайно в Вильнюсе – они сидели на скамейке, а мы проходили мимо, их не заметив, а Сергей нас узнал. Потом мы гуляли по Вильнюсу, и они пригласили нас приехать к ним в Неменчине. Мы тогда тоже отдыхали в Литве, но в Пабраде (были там с дочкой в одной компании с Сережей Завьяловым, Машей и ее дочкой). И мы действительно потом их посетили вместе с Сережей Завьяловым. Такая вот была замечательная встреча с продолжением.

Я уж не говорю о тех неожиданных встречах, которые происходят у меня со стихами Сергея, плодом чего стала, в конце концов, моя статья в «НЛО» о них²². Но это уже сильно позднее.

Часть II

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ В ОКСФОРД

Приход на Каменном и идейная борьба начала 90-х

Больше всего я хотел бы, чтобы этой главки моих мемуаров не было. Но обойти эти вопросы нельзя – в начале 90-х они живо задевали меня и многих вокруг. Приход на Каменном острове, где настоятелем был о. Валентин (Соломаха), стал не только местом, где люди впервые участвовали в богослужении, но и ареной столкновения идей, бурно обсуждавшихся в церковной среде.

Я перечислю лишь несколько главных тем. Первая была вызвана убийством о. Александра Меня и спорами вокруг его наследия, в частности, об отношении к обращению евреев в православие и к иудаизму в целом. Далее – вопросы экуменизма и активности западных протестантских миссионеров в России. Но самыми острыми были политические вопросы: каковы должны быть отношения между Церковью и государством, следует ли пытаться восстановить монархию? И, наконец, извечные споры об отношении к Западу, его культуре и либеральным ценностям.

Я не претендую на анализ всех этих споров. Скажу лишь о том, какую позицию занимал тогда человек, подписывавший свои тексты моим именем. Я нынешний не отождествляю себя полностью с той его позицией, но буду говорить о ней, попутно упоминая и других участников тогдашних полемик.

Первая возникла в связи с убийством о. Александра Меня. Лишь недавно я заметил, что его убили 9 сентября 1990 г. – ровно в тот день, когда о. Валентин был рукоположен в иеромонахи. Эта смерть, безусловно, его потрясла, и он не раз упоминал в проповедях о. Александра, с которым встречался лично.

Между собой мы наследие Меня не обсуждали. Я, возможно, и не читал тогда его спорные высказывания по «еврейскому вопросу», но отголоски полемики до меня доходили. В сентябре 1991 г., через год после убийства, я написал небольшое эссе, приуроченное к этой годовщине. Оно переводило разговор из теоретической плоскости в герменевтическую. Предметом размышления были слова некоего старца, обращённые к двум молодым людям еврейского происхождения: «Вы – дети Иаковлевы, держитесь друг друга...».

Эссе это я никогда не публиковал, хотя показывал о. Валентину. Он, как и в других случаях, воспринимал такие тексты как своего рода исповедь, а не как богословское произведение. Его молчание не означало равнодушия – было ясно, что и тему, и человека, её

²² Григорий Беневич. Поэт-поводырь (О поэзии Сергея Стратановского). НЛО. 2022. № 2 (174).

поднимающего, он принимает близко к сердцу. О. Валентину и самому пришлось тогда отчасти почувствовать, что значит оказаться заподозренным в еврейском происхождении в церковной среде.

В эссе я размышлял о том, что слова старца – не указание и не совет, а духовный завет. «Держаться друг друга» не означало организационного обособления или особой симпатии. Речь шла о взаимной поддержке в особых испытаниях и соблазнах, выпадающих на долю людей, у которых нет «земной матери-родины», о решимости «не быть ни иудеем, ни израильтянином, ни евреем, ни жидом... но также и не стараться сделаться русскими».

Оглядываясь назад, я вижу главный недостаток этого текста и самого совета «старца» в его сентиментальности. Фраза «дети Иаковлевы», как ни крути, определяла нас плотью и кровью, хотя, по идее, и намечался путь к преодолению этого во Христе. Позднее я сказал бы об этом иначе: не «не быть», а «быть» в истинном, духовном смысле, как об этом говорит ап. Павел.

Задача для православного христианина – научиться не демонизировать никакую человеческую общность, включая иудеев, что непросто, учитывая некоторые места в богослужении и святоотеческих текстах. Но непреложен факт иудейского происхождения Христа и Богородицы. Я вспоминаю, как один православный идеолог, Н.С., с амвона нашего храма заявлял, что Богородицу неверно называть иудейкой. Однако в богослужебных текстах чёрным по белому написано обратное. Важно, что именно будучи иудеями по плоти, Христос и Его Мать и стали теми, в ком, согласно учению, человеческая природа была восстановлена и обожена.

В начале 90-х вокруг митрополита Санкт-Петербургского Иоанна (Снычёва) сложился круг пишущих людей «с идеями». Я не входил в их число и многого не знал. Главное – автором большинства публикаций на церковно-политические темы, выходивших от имени владыки, был публицист Константин Душенов (К.Д.), ярый сторонник православной монархии. Влияли на митрополита и другие, например, мой наставник в догматике, патролог Вадим Лурье (В.Л.), боровшийся с экуменизмом, византолог Константин Аккентьев (К.А.), привлеченный В.Л., и идеолог Николай Симаков (Н.С.).

О. Валентин, человек скорее либеральных взглядов, не боролся за идеологическое влияние на митрополита и публично о своих предпочтениях не распространялся. Но ему приходилось, в силу подчинения, допускать до амвона того же Н.С., который произносил зажигательные антизападные речи – к недоумению либеральной части интеллигентной паствы. По виду о. Валентина и его намёкам в проповедях можно было догадаться о его ироническом отношении к этой риторике.

Мне же этой иронической отстранённости не хватало. Я не знал подноготной и переживал когнитивный диссонанс: в храме видел мягкого, светлого митрополита, а в публикуемых «им» статьях чувствовался совсем другой, жёсткий дух. Вместо того чтобы спросить у сведущих людей, я втянулся в полемику в дурацкой роли – мои статьи в либеральном еженедельнике «Час Пик» («Поэт и митрополит» и «Православие и кризис российской государственности») не оказали никакого влияния на окружение владыки. Похоже, я писал их ради самоутверждения.

В статьях я, опираясь на авторитет о. Иоанна Мейендорфа, оспаривал идею монархии как догмата и концепцию России как «Третьего Рима», выступал против зависимости Церкви от государства в борьбе с западными миссиями. Я верил, что православие спасёт не государственная опека, а вера и святые. Я также пытался доказать возможность иного сочетания православия, культуры и государственности, обращая (смешно сказать) к западнику Иосифу Бродскому и, с другой стороны – к православному русскому монархисту митрополиту (каким он представал в статьях, написанных не им, а К.Д. и К.А.) – адресатам, которым до меня не было дела.

Сегодня я считаю влияние этих статей нулевым, а свой порыв – наивным. Многое в тех текстах кажется непродуманным. Единственное, что осталось мне близко, – это мысль о недопустимости спасения Церкви через слияние с государственной властью. На остальные вопросы я сейчас, пожалуй, предпочёл бы не отвечать.

«Дом Плюс»

(или как я почти вписался в рынок)

Уйдя из кочегаров и перейдя в ВРФС на работу главным редактором в 1992 г., я довольно сильно рисковал. Работы в качестве редактора у меня было немного, но и зарплату я получал соответствующую. Прожить на нее впритером было невозможно. Но Н.А. Печерская, как заботливая мать, подстраховала мой переход в ВРФС, оказав помощь в устройстве меня «по совместительству» в засиявшую в это время на риэлтерском (пришлось узнать это слово!) небосводе новую звезду – фирму «Дом Плюс». Ее организовали некоторые из приятелей Н.П. по игротехникам, ученики Щедровицкого. И Н.П. сосватала меня туда. Так что я получил некоторый опыт работы в современном бизнесе. В «Дом Плюс» я возглавлял издательский отдел, но, в сущности, ничего не делал, т.е. время от времени вел умные (с их точки зрения) разговоры о том, о сем с начальством этой фирмы. Платили они прилично, располагались на Караванной, близко к ГПБ, так что заходить в рабочее время в Публичку для меня не было проблемой.

Из всего, что хочется вспомнить из работы в «Дом Плюс», в памяти всплывают две истории. Первая – командировка в Москву для аудиозаписи беседы с замминистра жилищного строительства (если я не путаю название министерства). Эта беседа (она должна была быть опубликована в первом номере выпускаемого «Дом Плюс» бюллетеня, который я как раз и готовил) меня поразила и весьма удручила. В первый и последний раз я встречался с чиновником такого ранга, и то, что он говорил, наводило ужас. Он совершенно бесстрастно вещал о том, что в Питере в историческом центре вскоре не останется ни одного из живущих там сейчас. Все они, по его словам, не смогут себе позволить там жить, им придется переместиться в дальние дешевые спальные районы. В историческом центре будут жить только состоятельные люди, которые, впрочем, будут сюда только время от времени приезжать на работу, а жить будут в комфортабельных загородных домах вблизи города. Ну и т.д. в том же духе. Посмотрел я на этого дяденьку (чьи прогнозы оказались во многом липовыми), и впервые во мне проснулось нечто вроде классовой ненависти... Впрочем, я не дал ей себя захлестнуть, в борцы с капиталистами не подался.

Второй случай, связанный с «Дом Плюс», более интересный – меня чуть не уволили из-за непонимания, что целью деятельности фирмы является не прибыль, как я наивно считал, а то, чтобы быть законодателем мод и стандартов в своей области на рынке (как полагало их начальство). Все это я описал в отдельном эссе, опубликованном в еженедельнике «Час Пик» в 1993 г. После того как это эссе напечатали, я не без некоторого дерзновения вручил его тому самому начальнику фирмы, который меня чуть не уволил (о чем в этом эссе и было рассказано). Прочтя его (а может и еще по каким причинам), он меня увольнять не стал. Но вскоре я уволился сам, так как получил стипендию для стажировки в Оксфорде. А когда через год я оттуда вернулся, то узнал, что «Дом Плюс» на грани банкротства (а вскоре вовсе перешел эту грань). Один из главных его менеджеров или сам начальник удрал с большими деньгами в США, на некоторых других его топ-менеджеров заведено уголовное дело с обвинением в мошенничестве и т.д. и т.п.

Православие и дети

По контрасту с предыдущей частью мемуаров – про акул капитализма, перейду к следующей – сентиментальной. Амплитуда нашего существования в «лихие 90-е» такой и была – вполне циничный прагматизм в ней соседствовал с духовно-душевными сентиментами. Я забыл рассказать, что во Франции на встрече с западными православными среди участников с «той стороны» была замечательная Софья Сергеевна Куломзина (известный православный детский педагог и писательница), которая на эту встречу не поленилась прилететь аж из США. Общение с ней, но прежде всего наличие собственных детей на фоне неопитства навело нас с Олей на мысль попробовать издавать православный детский журнал.

Я посидел в Публичке, поглядел, что по этой части было до революции, и на основе найденного и творчески попертого благочестиво-сентиментального старья, прибавив к нему урок церковно-славянского, был составлен первый номер журнала «Колокольчик». Молодые художники из нашего прихода на Каменном сделали стильные картинки. После одобрения в Духовной Академии, которая была рада присоединиться к нашему начинанию, объявив наш журнал приложением к «Христианскому чтению», Олин папа отпечатал «Колокольчик» в своей типографии, и он был успешно распродан. Так что мы все на этом семейном подряде даже что-то заработали, а в Питере в 1993 г. появился первый после революции православный детский журнал.

Компилятивный характер его первого номера был обусловлен опасением, что в противном случае Академия его не одобрит, а храмы не примут к распространению. Но, получив одобрение и марку, следующий номер мы сделали уже более самостоятельным. В частности, поместили туда написанную нами самими в стихах Рождественскую пьесу, о которой я расскажу чуть дальше, плюс еще там было довольно просторное «Письмо читателя», в котором я передаю свой разговор с нашей дочкой, плюс следующий урок церковно-славянского. Остальное, впрочем, тоже было заимствовано из дореволюционной детской православной периодики, но хотя бы не весь журнал.

Что до Рождественской пьесы, то история ее такова. Ходили мы тогда в храм на Каменном острове, где, благодаря его настоятелю о. В. и обстоятельствам времени и места сложился живой приход, костяк которого составляла всякая недавно воцерковившаяся творческая молодежь (впрочем, и не только молодежь, там было вообще много т.н. интеллигенции самого разного возраста). И вот мне, когда-то давню писавшему стихи, но давно же забросившему это дело по причине того, что явно не гений, пришло в голову написать что-нибудь детское и необязательное в творческом отношении, т.е. пьесу в стихах на Рождество. Немного помогла и Оля, главным образом не как автор, а как критик – когда я сбивался на что-то уж слишком заумное или, напротив, сентиментальное.

Как бы то ни было, пьесу поставили на Рождество силами прихода аж в Каменноостровском дворце, располагавшемся недалеко от храма. Я играл царя Ирода, наша дочка, Лия, играла Рождественскую звезду, кого-то играл и старший сын, Фима, задействованы в пьесе были и дети Бори Останина от Томи Чудиновской, Полина и Никифор, все было очень мило и трогательно. Только у меня перед самым представлением страшно разболелись зубы. И Ирода я играл, едва сдерживая стон. Я надел на себя черный кожаный плащ, который остался у меня от прошлой жизни. Вполне такой франтовый плащ, который я уже давно не носил. Настоящий кожаный и фирменный, а поверх него Олины бусы из черного чешского хрусталя – очень блестящие и очень черные. Вид у меня был достаточно мрачный. Как и должно быть, да еще зубы. Все прошло хорошо. Спектакль всем понравился. Ну, хотя бы просто потому, что мы все были «как дети» в каком-то, может быть, и не самом возвышенном, смысле. Потом пьеса была напечатана в детском православном (сейчас бы сказали «православненьком») журнале «Колокольчик» – единственном, кажется, детском журнале такого рода, который мы с Олей и издавали

вдвоем от лица и по благословию СПбДА. Все было радужно и мило...

А потом... потом началось уже совсем другое, после смерти митрополита Иоанна приход разогнали... Но эхо от прежней жизни иногда доносилось и позднее. Один из бывших прихожан того самого прихода, композитор Михаил Малевич положил некоторые части той Рождественской пьесы на музыку (прости, Миша, все же несколько слишком сентиментальную), и они до сих пор исполняются.

При том, надо сказать, что если бы не та Рождественская пьеса, совершенно необязательная в поэтическом отношении (хотя Боря Останин эти вирши полюбил и даже поместил в своей взрослой книге), то я бы, наверно, так и не вернулся к стихам, которые иногда пишу до сих пор... Потому что это заблуждение, что стихи должны писать только гении, а все остальное – графоманство. Меньше надо думать о себе: гений-не-гений. Какая разница. И от этого заблуждения нужно было когда-то избавиться. Спасибо Рождеству и о. Валентину, который после всего этого сказал: ну вот, а теперь, может, стоит попробовать писать стихи и не для детей. Если бы он только знал, какой ценой вернется ко мне поэзия, он, может быть, не был бы так неосторожен. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Здесь же я хотел бы хоть пару слов сказать и о той православной школе, куда ходили некоторое время наши дети, как и дети моего кума, Бори Останина. Я уже упоминал как-то, что при Обществе Открытое Христианство, во главе которого стоял религиозный философ Константин Иванов, был создан некий институт, а при нем школа, в которой вроде как была новаторская педагогика, плюс православное просвещение. Заведовала школой жена Кости, Инга. Ну вот, а тут как раз у нашей дочки совсем не сложились отношения с училкой в районной, ближайшей к дому, школе, куда она пошла в первый класс, так что та над ней просто издевалась. Дочка, в общем умненькая и прилежная по природе, была постоянно в стрессе. Тут-то и подвернулась Ингина православная школа, и мы туда начали Лию, а на следующий год и сына, Фиму возить – аж к Александро-Невской Лавре, где, вблизи нее, в некоторых прилегающих к ней зданиях, эта школа и размещалась. Фиме-то, который горазд побездельничать всегда был, там вполне понравилось, а Лие, хотя поначалу она оттаяла и отошло от стресса после учебы в районной школе, вскоре и тут обучение стало казаться все более странным. В самом деле, поскольку школа существовала на спонсорские, западные деньги, то немалая часть занятий состояла из разучивания детских песенок на английском языке, которые, будучи записаны на видео-аудио, отправлялись этим спонсорам, в ответ они, расчувствовавшись, присылали деньги. Все бы ничего, но обычная учеба от этого явно страдала, и мы, равно как и Боря с Томой, детей из этой школы забрали. По воспоминаниям Томи, «Ингина школа закончилась для них лицемерием странных плясок под ручку с голландскими, кажется, спонсорами того времени». А потом мы краем уха услышали о каких-то финансовых скандалах вокруг этой школы (но подробностей я уже не выяснял. И все же, несмотря на то, что давать ребенку т.н. православное образование я с тех пор никому не советую (у дочки остались от этого эксперимента не слишком теплые воспоминания), но, как ни крути, отошла от стресса от районной школы она именно там. Была в той школе очень добрая верующая учительница младших классов, которая Лию обогрела, а это, в общем, тоже не мало...

Что до детского православного воспитания в целом... Ничего хорошего я тут не могу сказать. Никаким позитивным опытом поделиться. Опыт – от противного – единственное православное воспитание, видимо, настоящая христианская жизнь и поведение родителей. А это мало в какой христианской семье (наша – не исключение) дети видят. А красивые слова – мы все умеем их говорить – на детей (в отличие от легко внушаемых взрослых) не действуют. Как и хождение каждое воскресенье на службу. И к морали дети не особо чувствительны. Разве что «от противного».

Короче, «Колокольчик» наш дальше второго номера «звенеть» не стал. Хотя, Куломзина, говорят, журнал наш похвалила... Но то, что, может, и работает, в благочестивой эмигрантской среде с ее субкультурой, складывавшейся десятилетиями, то не очень, мне кажется, годилось для среды постсоветской.

1993 г.

Дилетант среди философов

1993 г. стал новым поворотом в жизни ВРФШ. Как я уже писал, в 1992 г. от Школы отошел В.Л. вместе со своими патрологическими штудиями и целым блоком предметов, связанных с ними. С другой стороны, А.Ш. уехал в Штаты в Свято-Владимирскую семинарию, выбранный на основании собеседования из нескольких российских претендентов на одно бесплатное место самим о. Иоанном Мейендорфом, который, увы, скончался незадолго до приезда А.Ш. в семинарию, так что поучиться у него А.Ш. не удалось. В отличие от В.Л., отношения которого с ВРФШ безвозвратно порвались, А.Ш., уехав, предполагал, что рано или поздно вернется (у нас, оставшихся, совсем не было в этом уверенности). Как бы то ни было, связь А.Ш. со Школой в 1992-1993 гг., хоть и осложненная межконтинентальностью, не прекращалась, и второй том «Трудов ВРФШ», вышедший под новым названием: «Онтология, Эстетика, Религиозная Философия», – интеллектуальное участие А.Ш. в жизни Школы вполне отражал. Пользуясь своим положением составителя «Трудов», подкрепленным тем, что я не только нашел средства на издание, но и обеспечил его – в типографии тестя, я собирал эти «Труды» по своей прихоти и вкусу (чего не было с первым томом). Делал я это, несмотря на ворчание Н.П.: не слишком ли в этом томе обширно представлен уехавший А.Ш.

Действительно представлен он был больше чем четвертью по объему текстов, сразу в нескольких разделах. Но мне представлялось, что они стоили того, хотя ни его, ни двух других столпов философии ВРФШ – О.Н. и А.Ч. – статьи из раздела «Онтология» я почти совсем не понимал. Чувствовал, что это что-то крутое, и считал своим долгом издать. Потом, судя по входящей в этот раздел «Философской переписке о Гуссерле, Хайдеггере и Сартре», друг друга они понимали – с меня этого было достаточно.

Самым интересным из опубликованного мною А.Ш. (и хотя бы отчасти понятным мне) были, на мой взгляд, тексты оставленных им перед отъездом заметок, нечто вроде отдельных мыслей, возникавших в диалоге с читаемыми тогда (в 1989–1992 гг.) авторами – главным образом, экзистенциалистами и феноменологами, но порой и Новым Заветом и христианской традицией. Это было нечто вроде «Дребезгов» Бориса Останина, но только философских, ну, или религиозно-философских, поскольку автор время от времени касался и богословской, христианской тематики, пытаясь говорить о ней по-философски. Называлось это все вызывающе: «Безблагодатные мысли (философия Другого)».

Сам я своим редакторством не особо злоупотребил, никаких своих пространных опусов в «Труды» не поместил – соседствовать с «отцами ВРФШ» мне было не по чину. Единственным исключением – вполне хулиганским, но с согласия других участников, был короткий отклик под названием «Имя и Речь» на только что вышедший двухтомник Виктора Ширали «Соппротивление», отклик, содержащий краткий разбор его гениального на мой взгляд стихотворения «Стихи о времени». Мне показалось, что привести эти стихи и поговорить о них в философском сборнике было вполне уместно. Это, наверное, была моя первая статья о Ширали в череде многих других, которые мне предстояло написать много лет спустя, статей, в которых я пытаюсь показать, что этот – с виду поверхностный и уж совсем не-философский поэт-донжуан в силу аутентичности своей поэзии прикасается к таким экзистенциальным глубинам, и делает это настолько адекватно, что это стоит внимания

религиозных и просто философов²³.

Другим моим вкладом в сборник был перевод отрывка из «Феноменологии восприятия» Мориса Мерло-Понти «Тело как выражение – и речь». Французский мой, если честно, был худ, но знающие люди (на последнем этапе А. Черноглазов) помогли, плюс к тому имелся английский перевод... так что для первого знакомства с автором, мне показалось, что сойдет. Сама же тема представлялась мне весьма интересной и важной.

Через меня же был инициирован перевод работы Э. Левинаса «Значение и смысл», который выполнил А. Парибок (он же по заказу ВРФШ переводил для первого сборника Трудов другую работу Левинаса: «Время и Другое»). Так в этом плане получалась некая преемственность. Левинас из всех читавшихся нами тогда философов был для меня единственным, кто хоть что-то говорил моему сердцу, без чего я, человек приземленный и лирический, философию воспринимать не способен. Но мои друзья, «чистые философы», относились к нему скептически, особенно А.Ш., утверждавший, что все лучшее у Левинаса есть у других, а оригинальное в философском отношении не убедительно. Но как-то терпели все же соседство с ним на страницах одного сборника.

Интерес же к Левинасу во мне пробудила Татьяна Горичева²⁴, которая, скорее всего, и привезла в Питер его книги. Дружба с Таней, ее поддержка Школы в это время были заметным фактором нашей жизни. Как главный редактор ВРФШ я способствовал изданию в 1993 г. ее довольно рискованной по тем временам книги «Святые животные». Таня же помогла нам издать 2-й том «Трудов», который во многих отношениях вполне отвечал ее философским вкусам. Тут и «философия Другого», и Левинас, и Мерло-Понти... И хотя чистая философия, которую делали О.Н., А.Ч и отчасти А.Ш., ей была и не особо близка, но она была достаточно широка, чтобы поддерживать публикации и такого рода. В любом случае, без Тани (увы, недавно скончавшейся) в те трудные времена мы вряд ли бы свой сборник смогли издать.

Мое сотрудничество с Т. Горичевой, впрочем, не сводилось к перечисленному. Главным для меня в то время была возможность публиковаться в издаваемых ею «Беседах». Именно здесь, в 11 номере, в 1993 г. увидело свет мое пространное богословско-философское эссе: «Слово Церкви. Проблема православной экзегезы». Это было первое эссе такого рода, написанное уже, так сказать, после воцерковления, но в мой «донаучный период» (до Оксфорда), и тема Церкви, и, в частности, церковной гимнографии, которую я совсем недавно открыл для себя, стоит в его центре. Сам себе поражаюсь, как это я, едва познакомясь с какой-то областью, не изучив ее хотя бы немного по-настоящему, начинаю о ней вещать и про нее рассуждать. Так и здесь – это надо было иметь такую наглость (или все же неопитское дерзновение и горение?), чтобы, не изучив не только греческий, но даже по-настоящему церковно-славянский, что-то писать о церковной гимнографии, как-то ее обсуждать и толковать.

Понятно, что при таком отсутствии специальных знаний я допустил много ляпов, но искренний восторг от глубин церковной гимнографии, от учения Церкви в целом, и, это самое главное, – от самой Церкви, эссе, мне кажется, передает. Написано оно было как доклад к, приуроченной к Пасхе 1993 г., конференции (о ней чуть ниже) в день празднования иконы «Живоносный источник», т.е. в Пяток Светлой седмицы. И начинается с обсуждения одного из песнопений этого праздника: «Ни слово, ни ум, ниже язык Твое возмогут Чистая Рождество похвалити, но немощствуют в Тебе, и обличается философов честность, и риторов красота».

Не буду пересказывать здесь это эссе, содержащее, к слову сказать, интуиции целого

²³ См. список моих работ о Ширали в статье о нем в Википедии.

²⁴ См. статью о ней в Википедии.

ряда моих будущих работ, скажу лишь, что вряд ли бы оно появилась, не будь я в постоянном контакте с моими коллегами, «чистыми философами», которые, особенно близкий некогда мне А.Ш., конечно недоумевали, что это я нахожу в этой церковной гимнографии, где ничего, кроме риторики и догматики – и то, и другое так далеко от чистого, беспредпосылочного философского мышления! – нету и в помине. Вот я и пытаюсь в этом эссе сам для себя, а отчасти и для людей философского склада, ибо прибегаю и к кое-какому понятийному мышлению, это объяснить – чем прекрасно это, как я его назвал, «слово Церкви».

Но есть у этого эссе и еще один нерв, помимо подспудного диалога с философами. О нем я совершенно забыл, но заметив в конце дату – 23 апреля – сразу вспомнил. О таких вещах (слишком интимных) не принято говорить, но в этих мемуарах я уже не раз нарушал общепринятые приличия, нарушу и здесь – без этого не объяснить сути дела. Дело в том, что 23 апреля, на которое в тот год пришелся Пяток Светлой седмицы, это – день рождения моей мамы, к Церкви и к тематике этого эссе, конечно, никакого отношения не имевшей (если не считать, что именно мама, еврейка по происхождению и атеистка по воспитанию, меня в 15 лет привезла с экскурсией к храму Покрова-на-Нерли, где мне впервые открылось Материнство, о чем я как-то писал²⁵). Но ко мне-то мама отношение имела, и, судя по содержанию моего эссе, кое-что в нем, то самое, что относится к его подспудному второму «нерву», с нею, а через нее со всей моей родней по плоти и связано.

В эссе, в его заключительной части, я задаюсь одним трудным вопросом – к кому на самом деле обращены слова гимнографии, когда они обращены к каким-то «отрицательным героям». В качестве примера я беру Иуду, но с тем же успехом можно было взять иудеев и т.д. Ну, вот на Страстной Седмиче много же песнопений, обращенных к Иуде, когда его кроют последними словами. Как их следует воспринимать? Вряд ли пытаются докричаться до исторического Иуды, горящего в аду. Конечно, можно эти слова воспринимать как чистую риторику, фигуру речи, т.е. как такое благочестивое обличение не человека, а его порока. Можно и как-то аллегорически или исторически. Но я предлагаю – и пытаюсь это богословски-философски обосновать – воспринимать эти слова не риторически, не каким-то внешне моралистическим или историко-нравоучительным образом, а как обращенные лично ко мне и только ко мне. Ну, и *mutatis mutandis*, это относится к любому обличению кого-либо в церковной гимнографии.

Какое отношение это имеет к моей маме, кто понял, тот понял, а кто не понял, у того этой проблемы нету. Прав я или не прав в таком подходе к этому трудному вопросу и к гимнографии в целом, Бог весть. До сих пор эта статья серьезному обсуждению не подвергалась. Может, она того и не стоит – уж слишком много в ней очевидных чисто технических ляпов. Но ее главная интуиция остается мне почему-то до сих пор важна, если и не своим ответом, который может быть несколько невнятен, то своей постановкой вопроса.

Так что пресловутый вопрос об Иуде, столь волновавший русских религиозных философов и писателей Серебряного века, в несколько переформулированном виде (применительно к пониманию гимнографии) не обошел стороной и меня. Но решать я его пытаюсь, начиная с этого эссе 1993 г., иначе, чем это делали они, стараясь не выходить за рамки церковной догматики.

Но не был ли первый мой блин комом, т.е. не прокралось ли в первое мое богословское эссе «плотское мудрование» (через эту мою любовь к маме и родным по плоти), – вот вопрос...

²⁵ См. Г. Беневиц История моей мамы. Ч. 2. Еврейская старина. 2025. № 3. Главка «Покрова» (<https://s.berkovich-zametki.com/y2025/nomer3/benevich/>).

Зависть, или как я попал в Оксфорд

Почти сразу после отъезда А.Ш. на учебу в Штаты, т.е. с осени 1992 г. и где-то до начала 1994 г., моя жизнь была отравлена завистью. Было бы нечестно написать мемуары и не признаться в этом. Тем более что без этой зависти я б никогда не оказался в Оксфорде. То есть буквально каждый Божий день, стоило мне проснуться, как я чувствовал темное крыло зависти, которая омрачала все мое существование. А тут еще время от времени, то мой старший друг, Коля Кобак, яду подольет – мол, чего ты тут телепаешься, смотри, Аркаша поехал учиться, а ты чего? То директриса ВРФШ, Н.П., что-нибудь скажет в том же духе, что, мол, надо бы приобрести какой-то статус, где-то поучиться всерьез, смотри на А.Ш... Она, правда, была разочарована сильно тем, что А.Ш., судя по всему, в Школу не вернется, но надо отдать ей должное, не побоялась поставить этот эксперимент на мне. Советчики и поднатчики мои не особо задумывались, как это я оставлю не слишком-то здоровую жену с тремя малыми детьми. Но кто из чужой жизни о таких вещах думает?.. Одним словом, и этот внутренний яд съедавшей меня зависти (сколько ни исповедовал этот грех, никуда он ни девался), и старшие друзья, и начальники – все толкало меня в том или ином виде попытаться тоже поехать поучиться за границу. А тут как раз от Н.П. же, наверное, узнал, что Британский совет дает гранты на годичную (учебный год) стажировку в Британии. Вот я и подал заявку на участие в конкурсе, спросив, конечно, Олю, отпустит ли она меня, если паче чаяния грант дадут. Все это представлялось нам обоим маловероятным, и мы решили, что попробовать поучаствовать в конкурсе стоит, а там – посмотрим. Отказаться всегда можно.

Творческий конкурс – собеседование на английском и конкурс анкет – я прошел легко, оставив позади конкурентов. Комиссию впечатлило и мое самиздатское прошлое, и множество публикаций, в том числе за границей (в Париже!), и мой творческий проект (я знал – на самом деле не особо, но сумел пустить пыль в глаза – чего хотел). Но вот сдать экзамены по английскому (IELTS) мне на нужный балл с первого раза не удалось. Пола балла не добрал. Хорошо, давали вторую попытку, а в ВРФШ как раз стажировалась аспирантка из Британии, Руфь Коутс (сейчас известный профессор-славист). Помню, как я ездил к Руфи, снимавшей тогда жилье у Нарвских ворот совсем недалеко от моей родной английской школы № 263, в которой я не был с выпускного, и имел лишний повод вспомнить и эту школу, и мою учительницу английского Александру Георгиевну Дашковскую. Итак, я еще позанимался сам и раза три с внимательной Руфью, и со второго раза, отвечая на вопросы теста не думая, т.к., если задуматься, то точно не успеешь, либо ответишь неправильно, т.е. на каком-то автомате, почти в сомнамбулическом состоянии, все же необходимый проходной балл набрал.

Каким образом, пройдя конкурс на стипендию как таковую, я оказался именно в Оксфорде? С трудом, но все же вспомнил. 21–23 апреля 1993 г. в Питере проходила первая международная конференция Общества Христианских Философов (ОХФ) – существование которого в России инициировали англоязычные, главным образом американцы и британцы – аналитические философы-теологи. Я к аналитической философии-теологии никакого отношения не имел, понятия о ней тоже никакого, но Н.П. усиленно искала международные связи и источники финансирования проектов ВРФШ, а западные аналитические философы нашли – как я потом, уже в Оксфорде, понял – неплохую грантовую жилу – получать гранты на обращение дикой постсоветской России в свою веру, точнее, в свою методологию мышления о Боге. Это было нечто параллельное экспансии западных протестантских конфессий в Россию, но на совершенно другом, интеллектуальном, уровне. Так что тут встретились, что называется, «два одиночества» – ВРФШ и подобных ей организаций в России, искавших западной поддержки, и вот этих «англо-саксонских» профессоров-

аналитиков, получивших изрядную поддержку своих грантодателей на «освоение» и «усвоение» цивилизованному миру наших умов. Этот альянс – ко взаимной выгоде – продолжался довольно долго. И одним из ведущих профи с западной стороны был – как я узнал позднее – старый разведчик (почти не шутка), знавший, ну, кое-как русский язык, а тогда декан философского факультета Оксфордского университета – Ричард Свинберн. Ну, вот на этой конференции мы с ним впервые и встретились и шапочно познакомились. Так что потом, когда Британский совет выделил мне грант, Оксфордский университет воспользовался возможностью подзаработать, и Свинберн меня пригласил. Хотя доклад мой на этой конфе был совсем не аналитический, а то самое, что потом опубликовала Горичева в «Беседах»: Слово Церкви (проблемы православной экзегезы). Позднее он вошел и в материалы той самой встречи, выпущенные в 1994 г.

Как бы то ни было, моей стажировке в Оксфорде способствовала опять же Н.П. Без нее я б точно на все это не решился. А, если по-честному, то следовало ли мне туда ехать, в этот самый пресловутый Оксфорд? Чему я там научился, чему не мог бы (да и куда большему), прояви я усердие и целеустремленность, научиться в России, не обрекая жену на эти тяжелейшие в ее жизни девять месяцев? Вопрос этот вовсе не риторический. Но тогда престижность учебы в таком месте, конечно, перекрывала все. Все родные обещали всяческую поддержку. К тому же нашлась одна наша дальняя родственница, трагически потерявшая и мужа, и сына, и готовая, чтоб как-то избыть свое горе, Оле помогать (она и в самом деле сильно помогла). Так что Оля оставалась не совсем уж без помощи. И совесть мою удалось успокоить. Да и зависть к А.Ш. впервые за два года наконец отошла. Подстерегали другие страсти (но об этом я еще не знал). Все выглядело радужно и многообещающе.

«Лирическое» отступление

В то самое время (или чуть раньше?), когда я занимался покорением одной из главных «вершин» своей, так сказать, жизненной карьеры, с Олей (на самом деле с нами обоими, но я по мужской черствости и нечувствительности к таким вещам это пережил куда легче), произошло то, что другая женщина, с другим психическим и духовным устроением, пережила бы, наверное, легче. А для Оли это было настоящим трагическим событием, вызвавшим у нее сильнейшие, с моей точки зрения, и совсем отчаянные, стихи. Приведу их, и все станет понятно само собою:

Выкидыш

1

Рыбка, птичка, веточка,
Где ты, моя деточка?
У вороны в животе,
На помойке, на кресте?
На моей ладони,
Только что живой
Трепетал кусочек плоти,
Но уже не мой.
Оторвался от груди
Снег – окоченел,
Режет четкий силуэт

Внутри души – пробел.
В сердце воткнут укол,
Руки дрожат.
Точно так же буду я
Там же лежать.
Как разодранный шатер,
Раскрытое сердце,
И узнать, что там внутри,
– Ты же этого хотела?
Моя теплая кровь
Как тебя омоет?
И ладонью ладонь
Как тебя накроет?
Дурка голая бежит
И садится в снег.
– Как найти тебя, скажи?
– Как хочешь, – ответ.

2

Тяжко ходит коса,
И рушатся травы в ознобе.
Умирать много раз –
Такое у выросших хобби.
Камень долго теряет
Свою молчаливую, скорбную душу
Под присосками плесени едкой
И знает, что будет разрушен.
В обороте кокетливом
Морда лисы удивленно-печальна,
И в жесте приветливом
Нежных деревьев –
Какая-то грустная тайна.
И друг с другом мы делимся все,
Вспоминая, теряя.
Только ты, как бездомная кошка
Добрался до рая,
Обделенный названьем и формой.
Сказали: аморфное тело.
ОН – заплакал от жалости.
Сердце мое – опустело.
И теперь в эту стену
Стучись, не стучись головою,
Не откроют, наверно,
Уже никогда не откроют.

Октябрь 1993

Я не стану об этом стихотворении и обстоятельствах его написания особо

распространяться. Стихи говорят сами за себя. Скажу лишь, что в литературном отношении это стихотворение может быть прочитано, хотя Оля, кажется, этого не имела в виду, рядом с «Недоноском» Боратынского. Только у Оли здесь, так сказать, женский, материнский взгляд на нечто похожее (хоть «недоносок» и «выкидыш», конечно, не одно и то же) – не такой отвлеченно-возвышенный, как у Боратынского, куда более плотский, осязаемый, телесный, но и более пронзительный. И главное, что тут бросается в глаза, на что следовало бы тогда более всего и мне, и о. В. обратить внимание, – это ощущение отчаяния и богооставленности.

Еще острее она чувствуется в других ее стихах этого периода (не стану их приводить, чтобы не перегружать эти мемуары).

Как бы то ни было, при том, что и церковная община Оле (как и мне) очень нравилась, и в храме она себя чувствовала (не считая того, что нужно было урезонивать детей, чтоб вели себя тихо) почти как дома, и духовник, о. В., вроде во всех отношениях подходил, но чего-то очень важного, чего она ждала от Церкви – встречи с Богом, Его присутствия, опыт которой у нее был в детстве, церковная жизнь ей не давала. А она его искала и ждала.

Вот на этом фоне у Оли и случился выкидыш, который она пережила так трагически – как знак какой-то своей обреченности и осуждения Богом. Слишком меня тогда поразило это стихотворение («Выкидыш») поэтически. Не придавал я тогда ему значение как свидетельству о глубоком внутреннем духовном и душевном кризисе. Подумал: ну, отойдет от стресса от случившегося (с кем такого не бывает), и все устаканится. Меня во всей этой истории как мужа больше беспокоило, чтобы такое больше не повторилось. И определенные выводы я сделал.

И все же, и все же, я не хотел бы, чтобы читающие эту и некоторые другие главки мемуаров, где встречаются Олины стихи, их воспринимали бы как повод выразить сочувствие из-за тех или иных трагических или печальных (давно ушедших в прошлое) событий нашей жизни. Прежде всего, это все же стихи (пусть оплаченные порою и дорогой ценой), а не «проза жизни». И в качестве стихов они всегда в той или иной степени, часто весьма высокой, несут в себе момент катарсиса – очищения тех самых страстей, которые (при неправильном прочтении в качестве «прозы жизни») они «содержат».

Поэты ведь (не все, но такие, как Оля) – козлы отпущения, и несут грехи и боль мира в пустыню слова на себе.

Экуменизм, или первый раз в США

Где-то в конце мая-начале июня 1994 г., т.е. еще до моего отъезда осенью того же года на учебу в Оксфорд, Н.П. взяла меня с собой в США на какое-то невнятное по названию (оно не запомнилось) мероприятие в Колледжвилле (Миннесота), которое проводил тамошний Collegeville Institute for Ecumenical and Cultural Research (сейчас он в своем названии слово Ecumenical убрал!). Институт находится на территории католического аббатства St. John's. Там же располагались ещё ряд учебных, культурных и прочих организаций, одна из которых – это St. John's University для мужчин и College of St. Benedict для девушек, а также, помнится, было там и знаменитое издательство литургической (в т.ч. и восточно-христианской) литературы – «The Liturgical Press».

Мероприятие, на которое нас пригласили, естественно, оплатив перелет и проживание, было экуменическим (съехались представители многих конфессий из США). Что такое экуменизм, я тогда толком не знал, так что встретился с ним впервые, как и впервые же побывал в США, куда отправился не в последнюю очередь, т.к. надеялся повидаться с А.Ш. Конечно, поглядеть на сами Штаты тоже было интересно. Ну, а как неопит, я, наивный, собирался им рассказать о православии, даже набор открыток с православными иконами с

собой взял!

Рассказ об этой моей поездке, особенно о самом мероприятии в Колледжвилле, может получиться не совсем адекватный, потому что его легко может исказить мое последующее отношение к тому, что именуется кое-кем презрительно-уничижительным словом экуменизм. Для одних – ересь всех ересей последних антихристовых дней, а для других – среда открытости и преодоления гордыни конфессиональной исключительности. В любом случае, о том, что это за зверь, я тогда не знал. А попал туда «тепленьким», т.е. в том самом состоянии неофитства, в котором, конечно, всецело верил, что пришел в истинную и единственную соборную Церковь. При этом у меня не было, сколько я помню, внятного представления о канонах, запрещающих совместные молитвы с инославными и т.п. Так что эксперимент был, можно сказать, поставлен довольно чистый.

И результат его был таков, что от этого экуменического действия, от совместных молитв представителей разных конфессий, о вере которых я не имел никакого понятия, меня, признаться, внутренне мучило. Кто тут виноват, само это действие или что-то во мне, какое-то мое неправильное в отношении к «другому» устройство, мне было непонятно. Просто констатирую все, как оно было; надеюсь, что я все же не проецирую свои более поздние взгляды на экуменизм на это прошлое.

Попытки мои рассказать о православии с помощью захваченных открыток или иным каким образом были наивны и неприличны (Н.П. прозрачно на это намекнула). Никому тут было это не нужно – кто хотел, давно мог куда больше, чем я, узнать о православии – благо и православия в США полно – на всякий вкус, и книги в библиотеке – а там была прекрасная библиотека, какая и не снилась нашим духовным академиям, и даже издательство, издающее литургические тексты, в том числе по православной литургике, да еще с великолепными исследованиями по ним – все это там было. Так что я был смешон и нелеп, но, к счастью, быстро это понял. И стал уже не активничать, а смотреть и слушать.

Поразило меня (не в самом лучшем смысле) там многое. Но прежде всего то, что тон на этом сходняке задавали не представители старых традиционных конфессий, вроде хозяев-католиков или бывших там православных (там был, например, Пол Мейендорф), но – простите меня сторонники BLM и феминизма – пышнотелые темнокожие дамы, вероятно «черные баптистки» или нечто в этом роде, которые уже тогда, в 1994 г. все время говорили о вине белых мужчин, и, требуя покаяния за все и вся, настаивали, что это и должно быть единственной повесткой дня происходящей встречи... Это было сильно! Потом, когда мы прогуливались с Полом Мейендорфом вокруг тамошнего озера (они там очень гордятся его красотами, хотя почти каждое озеро на Карельском, пожалуй, покрасивше будет), да, так вот, когда мы бродили с Полом вокруг этого озера, он мне проронил: «Видите, как нам тут приходится тяжело?» О, да! Конечно, необходимость участвовать в подобного рода мероприятиях... а почему, собственно, нужно в них участвовать, вот, например, Полу (о себе я не говорю)? – это тяжелое бремя. И попытки хоть как-то осадить и ввести в рамки приличия этих пышнотелых темнокожих дам со стороны белых мужчин (а они предпринимались, например, тем же отважным Полом) были абсолютно безнадежны. В общем, я побывал тогда в будущем – окунулся в ту самую проблематику, которая выплеснулась в широкую общественную жизнь США и докатилась до Европы и даже до России чуть позднее...

Впрочем, библиотека в Колледжвилле собрана великолепная. В том числе туда свезено много ценнейших материалов по исторической литургике. А играющие в футбол и купающиеся в озере, вокруг которого мы бродили с Полом, американские католические монахи, в отличие от «беспочвенных» американских православных, как я подумал, способны справиться с этими экспансивными негритянками. Католическое богослужение, которое я там посетил, потрясло меня каким-то леденящим холодом. Последний раз такой холод я

ощущал в крематории. Этот холод – как раз то самое, что является своего рода противовесом витальности чернокожих «эмансипе». Цивилизация сдержек и противовесов. Где всякой твари по паре.

Нет, я не такой уж прям консерватор и традиционалист, но культурно-религиозный шок получил по полной. К впечатлениям в Колледжвилле добавилось то, что я увидел и услышал позднее, когда нас с Н.П. провезли в качестве гостей по ряду протестантских семинарий, и мы на их званных обедах слышали исполненные законной гордостью речи хозяев о том, что в их семинариях теперь могут учиться и получать пасторское звание не только женщины – это уже давнее завоевание, но и открытые представители нетрадиционной сексуальности. Для меня тогдашнего все это было too much. Я еще был совсем невинен, и не знал, насколько проблема гомосексуализма (хорошо, если не педофилии) актуальна и для исторически древних конфессий (не исключая и МП в России), только там это все скрывается, а у этих американцев обсуждается и по-своему решается.

Побывали мы проездом и в маленьком приходе Зарубежной Церкви под Минеаполисом, который показался мне на фоне всего остального увиденного в США каким-то островком пронзительно родного и абсолютно чуждого всему окружающему инобытия... (Не он ли стал позднее своим для перебравшейся в США дорогой мне по Питеру Маши Ушениной, бывшей жене Сережи Завьялова?)

Что еще? Свезил опекавший нас известный аналитический философ и теолог Мел (Мелвилл) Стюарт (Н.П. тогда завязала дружбу с ними) нас в главную местную достопримечательность – Молл (огромный торговый центр с кучей магазинов, едален и развлекален). Там меня больше всего поразили неправдоподобного размера продавцы вредной пищи (поголовно, увы, чернокожие). Они все были больны, судя по всему слоновьей болезнью или просто ожирением, выглядели так, что смотреть мне на них было больно и стыдно за то, что человек может сделать с человеком – т.е. вот так эксплуатировать чью-то болезнь, поставить их торговать всею этой жареной и жирной вреднящей пищей... Может, я чего-то не понимаю, но на месте чернокожих активистов, да и просто защитников прав человека, я бы боролся для начала с чем-то подобным... Но я помалкивал и только смотрел и поражался. Не проронил ни слова я и по поводу предоставленной мне на ночь water bed (видимо большая честь – для гостя), сон на которой показался мне утонченной пыткой. За молчание был и приз от профессора-аналитического-философа – подаренный моим детям набор LEGO – целое ведерко самого разного содержания; играли в него потом весь год, что меня не было в России, да и потом, когда вернулся, продолжали играть (Оле хоть какая-то передышка, да и им не бесполезно). Привез ли я дочке Барби? Уже не помню, но, кажется, да.

В общем, что сказать? Съездил к «антиподам», получил даже не культурный, а цивилизационный шок... В аэропорту Нью-Йорка мельком встретились после многолетней разлуки с двоюродным братом, Мариком, и после двухгодичной разлуки с А.Ш., который не без труда там нашел нас. Обнялись... постояли... Каждый уже жил своими проблемами, своею жизнью... Наговорились, точнее напереписывались мы вволю позднее, когда я оказался в Оксфорде, и там уже можно было быть практически на прямой связи через межкомпьютерную связь (как, бишь, она называлась...уже Интернет?). Но это все будет позднее.

В итоге этой поездки в США можно сказать, что я оказался косным и плохо восприимчивым к чужому, ничем себя, кроме ведерка с LEGO там не обогатил. Но сам этот опыт оказался неплохой подготовкой ко встрече с «другим» в Британии. После Штатов старушка-Англия показалась, по крайней мере, не столь жестко чуждой, а просто «другой», нежели Россия.

А экуменизм... С ним предстояло еще долго разбираться (по-настоящему разбираюсь до сих пор). Нет, не с подобного рода сходняками, как тот, на котором мы были – тут все

ясно; даже людям из Collegeville Institute for Cultural Research, убравшим из своего названия «Ecumenical», видимо это стало ясно. Но вот то, как веря в истинность своей Церкви, не впасть в конфессиональную гордыню, как, оставаясь верным православию, не демонизировать другие религиозные традиции и уметь быть открытым ко всякому благу, истине и красоте инде... Это задача на всю оставшуюся жизнь.

И еще вот, что я бы добавил, оглянувшись на свое прошлое. Нынче, когда в РФ так умело эксплуатируется идеология, основанная на фобии перед Западом и прежде всего англосаксонским миром, я не тороплюсь осуждать, подверженных ей. Сам знаю, что такое цивилизационный шок и всё, что связано с ним. Не так просто научиться правильно относиться ко всему этому. Но есть разница между теми, кто сознательно эксплуатирует фобии в отношении «чужого», и теми, кто подвержен им.

Цена поэзии

У покойного Бориса Останина было (не знаю, попало ли это в его записные книжки) такое выражение: «цена поэзии». Поминал он его тогда, когда кто-то говорил о безобразиях или несчастьях в жизни окружавших его или просто живших когда-то поэтов, их самих и их родных и близких. Вот эту «цену поэзии» или тот сор, или даже не сор, а так сказать «прозу жизни», из которой растут стихи, очень часто любят раскапывать исследователи. Взять хоть Сильвию Плат, сколько книг и статей написано об обстоятельствах появления ее гениальных стихов – обстоятельствах в самом деле трагических. Дело в том, однако, что поэт – хотел он этого или не хотел – уже заплатил эту цену – страсти и несчастья, из которых появились его/ее стихи уже переплавлены в них. Докапываясь же до них, пытаюсь понять из стихов – что же там произошло, мы как бы пренебрегаем происшедшим в стихах катарсисом, пренебрегаем поэзией, делаем уже за нее заплаченную цену напрасной.

Весь предыдущий абзац служит предупреждением (кто хочет, пусть считает – уловкой), чтобы в разговоре о написанной нами с Олей перед самым моим отъездом в Оксфорд книге стихов «Прощание» не вдаваться в подробности происшедшего, в ту самую «прозу жизни», которой в немалой степени посвящены эти мемуары. С моей стороны это тем более оправдано, что речь о так называемой «конфиденциальной информации» личного характера, касающейся не только нашей семьи, но и еще ряда людей. Тем же, кого раздрает любопытство, остается неотъемлемое право читателя – догадываться об этой «прозе жизни», исходя из стихов.

Единственное, что я хочу сказать, следуя принципу этих мемуаров – по возможности откровенного разговора о себе – как показала вся эта история, человека подстерегают самые опасные искушения в тот самый момент, когда он, что называется, «на коне». Именно так я чувствовал себя перед отъездом в Оксфорд, в то самое лето, когда до отъезда оставались еще два с половиной месяца – я только что вернулся из поездки в США, мы сняли дачу на Карельском, Оля с Фимой уехала туда, остальных детей взяла теща, а я задержался по каким-то делам в Питере, собираясь вскоре приехать к Оле.

И второе (может быть для кого-то пригодится) наблюдение – искушение приходит, откуда не ждешь, порою через очень близких – или казавшихся такими – людей. Сказав это, приведу стихотворение, которое в ответ на это, постигшее меня плотское искушение, было написано. У него есть эпиграф: «Чистейшей прелести чистейший образец». А вот и оно само:

Израиль

Только сверх-природная
Может здесь помочь

Милость, чтоб природную
Прелесть превозмочь.

Встретившись с природою,
Собственной своей,
Распрошусь с свободою,
Захлебнувшись в ней.

Впавши в искушение,
К славе ли к концу,
Господи, брение
Для чего скопцу,

Тело умертвившему,
Встреча с телом, с Ним.
Для чего Всевышнему
Схватка выше сил?

Здесь можно приостановиться и заметить, что в приведенных строчках произошла метаморфоза – плотское искушение обернулось борьбой, образ которой восходит к борьбе Иакова с Богом, закончившейся, как известно, наречением новым именем – Израиль. Теперь можно вернуться к тексту:

Разве что природою
Наделив меня,
Милость сверх-природную
Приберег до дня?

А покуда пялится,
Отойдя за круг,
Как я буду маяться
От Его ж рук.

Видно, хочет имя мне
Новое наречь.
Сам уже не вынырну,
Топит плоть как речь.

Топит плоть горячая.
Топит плоть как печь.
Вынырну ли мячиком,
Вытяну ли речь?

Сквозь стихию водную
Руку протяни
Третью сверх-природную –
Воду разгони.

Воздуху дай, воздуху!

От захвата рук
Нету в плоти роздыху.
Топит смысл и звук.

Топит, но не плаваются
Отроки в печи.
Что ж мне переправиться
Удалось?
Почти.

Июнь 1994

Здесь много аллюзий, которые легко восстанавливаются, если заглянуть в Исх. 14; 15 (переход народа Израиля через Чермное море) и в Дан. 3 (отроки в печи вавилонской), как и вспомнить о Богородичной иконе «Троеручице».

Всего стихотворение состояло из 12 строф, но одну, слишком буквальную, я тогда же убрал (это соответствует и «удалось... почти»). Позднее этот жанр – 12-строфник – будет в моих стихах неоднократно повторяться, и смысл этой структуры мне постепенно приоткроется. Как бы то ни было, с этого стихотворения после долгого перерыва я снова начал писать стихи²⁶. Но в этом-то и состояла главная «засада». Одно дело было выдержать то, настигшее меня искушение, о котором речь в этих стихах (в решающий момент я открыл недавно вышедшую книгу Максима Исповедника на «Сотницах о любви», и это меня спасло), и другое – не впасть в тщеславие и не поддаться гордыне в связи с этой победой. Вот тут и произошел мой роковой прокол, приведший к сильнейшему потрясению Олиной и без того очень подвижной психики, которое, в общей сложности, длилось около полугода и наложило печать на всю ее, а через это и мою, оставшуюся жизнь.

Не буду описывать подробности. Скажу лишь, что тогда мы ничего не поняли, что с нею происходит. Как бы то ни было, не только ко мне, но и к ней тогда вернулась поэзия (и в отличие от подавляющего числа моих, ее стихи были, как и прежде – настоящими). Все они вошли в наш совместный сборник стихов «Прощание» (1994 г.), а потом были опубликованы отдельно в ее сборнике «Переход» (2015, с. 41–48).

Вот два моих самых любимых Олиных стихотворения оттуда:

Мертвая метель

Что стряслось? Какая-то метель –
Пух летит в лицо мне, пух лебяжий,
Комьями свалявшийся. Постель,
Развернув, вытряхивают, тяжесть.
Все с души воротит, этот пух
Забивает ноздри, уши, щели
Под дверьми, меж окнами. Метели
Закрываясь тщетно, слышу звук.
Человеку человек едва
Ерунда какая-то, условность;
Только вышел – ничего не вспомнишь,

²⁶ Большинство моих текстов, написанных в жанре двенадцатистрофников, собрано в сборнике: Дважды двенадцать: стихи с контекстами. М., СПб.: Руграм, Пальмира, 2025.

Что осталось? — Эта чушь — слова.
Что представить, если все не так
Будет, и запомнится, как было
Все неверно: я уже не та,
Та, что обнимала, что любила —
Имя, тело, что-либо еще,
Как поймашь, если облетая,
Я ищу того, что я не знаю?
Вот тебя люблю, касаюсь щек, —
Мнится мне, что я щеки касаюсь,
Все необязательно. Сметает
В кучку пух, но он летит еще.
Кто ты? Где ты? Мертвая метель
Все остановила, заглушая,
Даже сердца стук, нет, он мешает
Ей. И все слышней...
слышней.

Мука

Вот стою я между двух электричек,
Расходящихся, как смерть и рождение.
В этой точке ни малейших приличий
Не осталось, но одно разделение,
Одна голая неправда исхода,
Переменчивость во времени плоти —
Путь в египетскую мертвую воду,
Ну как если ничего не выходит.
Правда выглядит подвижнее массы,
Копошащейся и так же бесстыдна;
Все разъято — безразлично, безвластно,
Как у девки — кроме этой не видно
Ничего, какая жалкая маска,
Постаревшая в мученьи бесплодном
Зряшних родов, твоя жаркая ласка
Исторгает только мертвую воду.
Голова моя, глава и головка,
Беззащитная и бедная тайна,
Как ни спрячешься — смешно и неловко,
Милый мальчик мой — что делать — не знаю.
Где твой ум своей лишается власти
И теряет все, чем был во мне мужем,
Появляется в тиши и бесстрастии
Тот, кто сам себе пока что не нужен.
И ему я точно полная чаша,
И ему я как надежная крыша,
Все во мне, что не мое и не наше,
Изливается обильно и дышит
До поры, пока не выйдет из сени

Смертной и не найдет себя чуждым.
Бедный мальчик мой – сплошное мученье
Эта жизнь – и невозможное чудо.

Сказ о помойке

До моего отъезда произошла еще одна история, о которой стоит рассказать. Речь о деньгах. Отправляясь на дачу, Оля практически все наши скромные сбережения, на которые она с детьми должна была жить в мое отсутствие, предусмотрительно переведенные в доллары, чтоб уберечься от инфляции, положила на всякий случай в коробку из-под сока, вставленную в другую, большего размера, и поставила, завернув в полиэтиленовый пакет, на полку в туалете. Это было сделано на случай, если в наше отсутствие кто-то проникнет в квартиру. В те времена квартирные кражи были явлением весьма распространенным, а дверь у нас вовсе не была железной. И жили мы на последнем этаже в доме без всякой охраны. Так что такая предусмотрительность была не лишней. А тащить деньги с собой на дачу было бы как-то тоже неправильно. Так что все она, вроде, предусмотрела, забыла только сказать мне об этом.

Ну, а я, что со мной бывало крайне редко, решил навести порядок в туалете. Ну и, короче, коробку эту с примерно 3 тысячами долларов – всем, что у нас было скоплено – выбросил на помойку. Через несколько дней я как-то случайно Оле о своей уборке в туалете сказал. Ей аж худо сделалось. Я, конечно, тоже обалдел, и подумал: значит ехать в Оксфорд не судьба. Но все же Оля, конечно, побежала искать коробку на помойку. Надо сказать, что помойки рядом с домами в те времена убирали очень редко, и там днями, а чаще неделями все валялось навалом и скапливалось... Я не пошел, так как даже не запомнил, как эта коробка выглядит. Оля же помнила, но с первого раза, походив вокруг помойки, ничего не нашла. Через пару часов предприняла новую попытку и стала эту помойку буквально ворошить. А рядом с ней там бомж занимался примерно тем же – искал, чем бы поживиться. Он, конечно, поинтересовался, что Оля ищет, а она ему: куколку дочка случайно выбросила. Он предложил ей помочь искать, но она сказала, что справится сама. Долго ли, коротко ли, переверолошив помойку изрядно, Оля свою коробку, отличив ее от всех подобных ей коробок из-под сока и прочего мусора, выхватила. И, чтобы бомж не врубился, что искала она совсем не куколку, схватив ее, побежала домой. Тут только и выяснилось, что коробка та самая, и доллары были на месте. А я решил, что в Оксфорд мне ехать все же – судьба.